

Константин ГНЕТНЕВ

г. Петрозаводск

*Душе моя, что нерадиво живёши ленищаяся?
Что не печешься о злых, иже содеяла еси в жизни?*

**Псалтырь,
молитвы по 16-й кафизме**

Япроснулся от ощущения радости и душевно-го умиротворения. Часы на тумбочке показывали около четырёх утра. Никогда раньше в своей немаленькой жизни не бывало таких пробуждений. Но сегодня в белой палате на двоих я проснулся именно так, от счастья.

Через полуоткрытую дверь слышны постанывания и храп соседей по коридору. Кто-то прошаркал тапками в туалет. Через час-полтора всё здесь наполнится деятельной суетой и шумом. Я подобрал в горсть трубку, свисающую слева, потянул две других, что справа. Потом сделал попытку повернуться на бок и сесть. Резкая боль ударила в живот и опрокинула навзничь. Я ждал боли и не очень испугался. Нужно определить, как двигаться, чтобы болело меньше всего. И снова осторожно стал поворачиваться на правый бок, к проходу меж койками. Терпел и поворачивался, терпел и поворачивался... Пот выступил на висках, рубаха прилипла к спине, но всё-таки поднялся и сел. Знаю, дальше будет легче.

Мне бы ещё встать. Но голова кружится и в ушах аж свистит. Некстати вспомнился анекдот. К доктору пришёл мужчина и жалуется на свист в ушах во время постельного общения с женой. Доктор: «Сколько вам лет?» Мужчина: «Шестьдесят». Доктор: «И что же вы хотели услышать, аплодисменты?»

Сегодня у меня другой случай, и аплодисментов я точно не жду. Упёршись руками в край кровати, посидел с минуту и понял, что встать не смогу. Да и рисковать не стоило. Соседа только привезли из ИТАРа. Он ещё не отошёл от наркоза и помощник в случае чего никакой. Один раз сел, сяду и во второй. А там... Где наша не пропадала.

Боль медленно плавилась, растекалась по животу. Вернулось ощущение радости. Слава

15
ЛЕТ
БОРЬБЫ ЗА
СОЦИАЛИЗМ

17-Й ШЛЮЗ

повесть



тебе, Господи! Теперь только восстанавливаться и собирать силы. А впереди жизнь, свободная от процедур и анализов. Впереди работа.

2011 год, начало июня. Больница

Меня привезли сюда позавчера к ночи со смешным диагнозом «острый живот». Живот был совсем не острый, напротив, кругловатый и горячий. Заставили пить безвкусную белую жидкость, дважды сделали рентген и объявили, что назавтра готовят операцию. Я только успел позвонить домой.

После операции, в ИТАРе, в состоянии полубытья-полу-не знаю чего, услышал короткий разговор. Равнодушный женский голос сказал: «Думали, не раздышитесь, а ты смотри-ка какой герой оказался». Другой голос, уже усталый мужской, добавил: «Да, была опасность потерять. Но ничего, теперь выкарабкается». Когда отошёл наркоз и ещё не прилачился, как лежать, как дышать и как поворачиваться, вдруг обнаружил, что мне показывают... кино. В мозгу загорелся небольшой экран, пошли кадры, и спокойный, ровный голос стал рассказывать что-то по чёму. Я всмотрелся. Кино про историю древнего мореплавания. Вот первые неуклюжие суда, вот как они с годами трансформировались, вот кто составлял первые экипажи.

Голос называл страны, имена конструкторов и изобретателей, как они воровали друг у друга идеи, что у них получалось в развитии этих идей, а что не получалось, как бесконечно дрались, закалывая друг друга до смерти. В нужном месте картинка останавливалась и превращалась в видео. Я мог наблюдать, как всё происходило, вживую.

Отдельная история, тронувшая меня, — нравы той поры. Бесконечные конфликты, буквально варварская жестокость. Вот как наказывают провинившегося в экипаже. Выносят на палубу ящик, укладывают в него живого человека, а в крышку изнутри вделаны лезвия: напротив горла, груди, рук-ног. Много лезвий. И вот крышку буквально вколачивают в гроб и бедолагу выкидывают за борт. Голос за кадром говорит: когда-нибудь водолазы найдут на дне такой ящик и долго будут думать, что же это такое...

Кино нескончаемое, множество имён, стран, мельчайших деталей и подробностей. Я не видел подобного никогда. Да и не собрать современному человеку такое количество фактов о происхождении на планете сотни лет назад.

На следующую ночь экран засветился снова. На этот раз показали кино про становление древнего театра. И снова я воочию увидел первые постановки, диктор рассказывал, почему герой выглядел именно так, почему говорил и двигался не иначе, по каким принципам строилось развитие пьесы, как оно потом развивалось в той стране и в этой. И снова тщательно, подробно, с именами, о которых мир забыл сотни лет назад.

Очень меня озадачил этот феномен. Кто и с какой целью подключил моё воспалённое болезнью сознание к этому источнику знания? Что это за немыслимый по объёму источник сведений о земной жизни человечества во всей её полноте?

Понимаю, вопросы эти для православного человека риторические. Одно остаётся непонятным. Зачем мне знать про историю древнего судостроения и мореплавания, а тем более древнего театра? Ни тем, ни другим я никогда не интересовался. Что Он имел в виду этим, я не знаю.

Чуть забегу вперёд. Не люблю и даже боюсь снов. В детстве они приходили ко мне редко. Бывало, после какой-нибудь захватывающей книги про войну я оказывался в гуще боя: грохот, стрельба, ощущение ужаса, автоматная очередь в упор... С возрастом появление сновидений стало признаком недостаточной работы. Чем дольше оставался без дела, тем жёстче накатывали сны. Но теперь, после больницы, сны стали приходить каждую ночь. Снилось собственная жизнь. Всплывали сценки раннего детства, дом, школа и многое из того, что было потом, разные разговоры. Я скоро понял, что не избавлюсь от этих снов, если только не стану их записывать, — не все, только те, что запомнятся. Записанное решил привести здесь в качестве параллельного повествования. Зачем, не знаю. Буду считать, для себя.

Вспоминаю неловкость. Рано утром перед операцией появился Николай.

— Ты это что в коридоре валяешься? — напустился на меня. И, не ожидая ответа, пошagal в ординаторскую. Моя кровать неподалёку, и я слы-

шал, как он басил про неуважение к известному писателю, что поставит вопрос у руководства. Николай вышел с раскрасневшимся дежурным хирургом. К его неудаче, дежурил в эту ночь сам заводделением. Невыспавшийся и помятый, он вяло оправдывался, мол, вынужденная мера, свободных коек нет; сейчас готовят операционную, и после достойное место непременно...

Было стыдно слушать это. Николай повесил в изголовье магазинный пакет с апельсинами и демонстративно рядом с кроватью на пол поставил сок и мрачно известил, что вечером вернётся. Я и не сомневался, что будет именно так. Мой друг детства, нынче помощник депутата, в ослепительно белой рубашке с галстуком и в любых обстоятельствах сияющих блеском остроносых туфель, выглядел не олицетворением власти, а самой властью — справедливой и взыскующей. Сколько я его помню во взрослой жизни, он всегда выглядел так.

А потом мне всё-таки удалось встать. Отчётливо помню: на часах около пяти, тепло, раскрыл окно, а под окном кроны яблонь в белом цвету. И ощущение восторга — всё плохое позади! Через дорогу корпуса республиканской больницы. В некоторых окнах горит свет. Бедные, бедные люди! Страдают и, может быть, именно в эти минуты раннего утра со страхом ждут операции. А кто-то переживает за них дома, не спит, боится, вдруг случится страшное...

2011 год, конец июня. Город

— Ну что у тебя там? Не болит?

Николай кивает на мой живот. Он ведёт машину бережно, притормаживает перед едва видимыми бугорками. Она у него и так на мягком ходу, вся ладная, как кошка, и так же тихо урчит.

— Ладно тебе, — отвечаю. — Не бидон с молоком везёшь.

— Бидон... Помнишь, как в детстве возили молоко в город? Два трёхлитровых бидона мать в санки поставит, тряпкой укроет, и пошли. От нас, с 17-го шлюза, до города километров семь.

Сам Николай молоко на продажу в город не возил. В его семье коровы не было. Но с нами он ходил пару раз за компанию, удивляя умением торговаться. Мы-то в этом деле были сущие лопухи.

— Как тут забудешь. Вверх-вниз по квартирам: «Тётенька, вам молока не надо?» А обратно идёшь, деньги в кулаке зажал — не дай бог потерять! И думаешь всю дорогу: принесу, вот матери радость будет.

— Да уж, — Николай замолчал, переключил передачу и прибавил скорость. — Как родители на Канале жили, понять невозможно. Нищета.

— Но вы-то куда ни шло, а вот мы...

Отец Николая офицер, фронтовик, жизнерадостный мужчина в орденах и медалях, непреременный участник всех застолий и президиумов. Они не бедствовали. Наш отец, Дмитрий Иванович, воевал солдатом, второй номер ПТР, противотанкового ружья, дважды ранен, инвалид. И награда у него одна — медаль за оборону Ленинграда, которую он почему-то называл «за снятие блокады с Ленинграда». Медаль он никогда не носил, и мы её скоро потеряли. Отец работал на шлюзе механиком и возможностью устроить нам сытую жизнь между авансом и получкой не обладал.

Однажды, уж не помню, по какому случаю, у мамы оказалось очень плохое настроение. Она плакала, уткнувшись взглядом в угол за печку. Я подошёл, стал с ней говорить, она молчала. Мы помолчали вместе, а потом она просто, безо всякого выражения, как о давно переболевшем, рассказала, что наш отец у неё второй. Первого мужа арестовали и отправили на строительство канала. Ей удалось разыскать адрес и приехать. Однако к тому времени строительство закончилось и почти всех заключённых перевели под Москву строить новый канал. Отца она так и не нашла. Но мама не оставила поисков и для этого осталась здесь работать. Но, к сожалению, ничего не знает о нём до сих пор, хоть писала в разные инстанции.

Я был ошарашен маминой тайной. Мама вытерла слёзы концом платка, обхватила ладонями мою голову и, глядя прямо в глаза, попросила: «Я хочу, чтоб ты, когда вырастешь, узнал его судьбу. Доживу я до этого или не доживу, но ты, сынок, узнай: где был, как погиб, кто в этом виноват. Узнаешь?» Я спросил: «Может, не погиб?» — «Погиб, погиб, я знаю. Он чувствовал... Потом дам тебе его письма. А пока не болтай, понял? Чтоб никому!»

Я долго ждал писем, но она так и не отдала их

до самой смерти. Письма я нашёл сам. Они были обёрнуты белой тряпочкой и аккуратно перевязаны совершенно выцветшей розовой лентой. Да и писем-то было всего три.

Едем на дачу отмечать моё выздоровление. Соседка Евдокия Васильевна уже протопила баню и накрыла стол. Она всё лето безвылазно на даче, у неё ключи, хозяйничает, когда Николай позвонит. Неслышная, спокойная, всё в её руках выходит споро. Николай привозит Евдокии Васильевне неизменную коробку продуктов и никогда не берёт денег. Такой вот у них договор взаимопользования соседского бытования.

— Тебе париться-то можно? А то, не приведи Господи, случись что.

— Ничего, я на нижней полке попотею.

И вот обсохли, отдохнули, выпили по одной и вторую налили.

— Как у тебя с книгой? Отыскал свою инженершу?

Николай знает, что я разыскиваю следы единственной на Беломорстрое женщины-прораба, хочу написать о её жизни и работе на строительстве. Поиски затянулись и результата пока не дали. Архивы присылают стандартные отписки: «дела на хранении не имеется».

— Может, депутатский запрос зарядить? Я могу.

Едва ли это поможет. По опыту знаю, такие дела административной атакой не берутся. Тут нужны осада и подкоп. Архивное начальство, тем более из ведомств, где сокрыто прошлое силовиков, исподлобья смотрит на таких, как я. Мы были и остаёмся у них на подозрении. Сидит такой, морщит лоб и думает: «Пустишь, а он распишет так, что не дай бог. А мне начальство станет названивать. А то и вообще погоня в урну и на пенсию. Скажут, перестал мух ловить, парень. Отдыхай. Поэтому давай-ка стандартную отписку зарядим: «дела на хранении нет». Кто проверит?»

Однажды так и получилось. Шлю запросы в одно областное МВД, а оттуда отписки, мол, ничего не ведаем. Женщины в архиве нашего МВД говорят: да у них это «дело», знаем; напиши их генералу. Написал. Так они после по три раза в день мне звонили и радостно докладывали: «Нашли, нашли — сегодня же высылаем!»

— Знаю, строила водохранилище на южном

участке, руководила фалангой в тысячу заключённых. Это знаю. А вот имя, кем была до ареста, что стало после строительства, пока неизвестно.

В работе с архивами важно правильно поставить вопрос. Некорректно поставленный вопрос не даст нужного результата. Значит, я неверно обозначаю то, что ищу. Хотя опыт уже есть. С помощью Николая издал три книги по истории Канала. Но то была история вширь: события, факты, цифры, имена. Книга, которую пишу теперь, будет историей вглубь, в судьбу, в душу.

— На что тебе инженерша? Почти год занимаешься, а толку чуть, — говорит Николай, наливая по третьей. — Там и другие были — офицеры, священники, царские министры. Может, не стоит тратить время?

— Может, и не стоит. Но почему-то хочу написать именно о ней. Представь: молодая женщина среди тысячи урок. На двадцать километров в округе только лес, болото и вода. Как руководила, как жила? Какой характер нужен для этого.

— Что узнаешь о характере по жёлтым бумагам?

— О-о-о, не скажи. Бумаги разговорчивы, если с ними по-хорошему. А я умею по-хорошему. Вот недавно старую школьную тетрадь нашёл, и такие воспоминания накатили, хоть плачь.

— Ну, давай за детство. Я тоже что-то ностальгирую последнее время. Рыбалки, валяние в сугробах, походы в школу. Помнишь: темень, громадное чёрное небо в миллионах звёзд, морозиче. Топаешь в деревню по санному следу, а у самого руки заоченеют, аж слёзы из глаз.

— Стареем мы с тобой, Коля. Стареем.

Помолчали, вспомнили каждый далёкое теперь своё. Слышно, как на веранде тихо копошится Евдокия Васильевна. Что-то шипит на сковородке. Что тут поделаешь: всякое воспоминание детства к старости навеивает грусть.

— У нас в фонде кое-какие деньги остались, — напоминает Николай. — Собери-ка свои очерки, издадим сборником. Ты же собирался ещё год назад, обещал людям. Чего тянешь?

Обещал... Мы с Николаем ездили в район, выступали — он о своём, я о своём. Он иногда приглашает меня в поездки, всякий раз заставляет повязывать галстук и пышно представляет. Я понимаю, меня используют в качестве десерта к не очень вкусному блюду, но соглашаюсь. Выступая перед залом, нахожу повод намекнуть, что

они сами по себе, эти начальники, а я сам по себе. Николай злобно шипит мне в спину.

Вот на таком выступлении из зала предложили, мол, помним ваши очерки в журнале, почему бы не выпустить книжкой. Я собрал вырезки, перечитал и понял, что просто собрать не получится, нужно переписывать, дополнять и попытаться вытянуть их до некоего литературного уровня. Нужно время, нужно обновить материал и собраться с мыслями. Написал давнему товарищу в Москву, Никитину. Андрей Леонидович, матёрый писатель, очеркист, редактор-составитель серии очерковых сборников «Дорогами России», ответил коротко: приезжайте, поговорим. Нужно собираться в столицу. Тем более предстоит недельная работа в столичном архиве. Оттуда тоже прислали вызов: приезжайте.

Бесшумной тенью появляется Евдокия Васильевна, смотрит, всё ли ладно у нас со столом. В прежние времена, бывало, решалась и на упрёки, когда замечала, что перебираем. Евдокия Васильевна в давнем прошлом школьная учительница и веское слово сказать умеет. Наш разговор она слышала и вставляет свои пять копеек.

— Тихон Дмитриевич, а может, и не нужно это — про Канал и людей, что остались там? Зачем тревожить косточки? Столько лет прошло...

Она говорит тихо, горьким голосом. Я знаю, её родители упокоились где-то на трассе. Отец священник, мама попадьё. Сотни их в 20-30-е годы оказались в лагерях по 58-11, пропаганда и агитация. Священник уязвим, он настоящая находка для следователя НКВД, у которого план по посадкам: всегда среди людей, всегда что-то говорит, иногда и вовсе шепчется один на один. Может, заговор готовит?

Она не в первый раз заводит этот разговор. Мысль её понятна: не нам судить, мы всегда ошибаемся в оценках — подобный суд людям не по разуму. Господь сам воздаст каждому по делам его. К тому же Он уже дал нам нравственную шкалу — Заповеди: «Не убий, не укради, не прелюбы сотвори...» Дал и Евангелие, где все ответы на наши вопросы.

Да, с этим спорить невозможно. Но если и мы сами станем уклоняться от оценок прошлого, как же нам строить жизнь дальше? Каким обра-

зом отличать белое от чёрного в отношении гражданин — государство? Если преступления против личности объясняются государственной целесообразностью?

— Да, согласен, Евдокия Васильевна. Косточки тревожить не следует, а совесть всё-таки надо. Помните чеховский звоночек под дверью? Буду звонить потихонечку, пока живу. Строительство Канала не закончилось. Никто не покаялся.

Мало того, что не покаялся никто, думаю про себя. Всё чаще и чаще слышны громкие авторитетные голоса, что правильно это, — всё, что было сделано с народом. Иначе, мол, дремучую крестьянскую страну не поднять, не встряхнуть, не сделать передовой индустриальной державой. Иначе, делают вывод, Советскую Россию ждало неминуемое поражение в грядущей войне. А так-де победили. Да и чего там, собственно говоря, особенно убиваться. Меньше четырёх миллионов народу репрессировали, а расстреляли-то всего 600 с небольшим тысяч. В иных странах счёт шёл на десятки миллионов, и никто не вспоминает, будто и не бывало такого никогда...

Часто приходится встречать нынче подобные рассуждения. Сидит такая упитанная ряха в телевизоре и убедительно так, с огоньком, рассуждает, какой товарищ Сталин с Хрущёвым и иными подручными были молодцы. И от внутренних врагов страну очистили, и внешних противников посрамили, и промышленность подняли, и не воровали, как нынешние. Сталина вот в гроб положить было не в чем, ботинки сношенные оказались, стыдно. А я думаю, мои-то деды по отцу и по матери, крестьянин да так и не повоевавший ни с кем донской казак с тремя малолетними детьми-девками, чем перед государством провинились? Кому они враги? За что он их в «скотинном» эшелоне на Крайний Север заслал? Нет ответа.

Забываем, забываем...

И никто не желает задуматься, были ли иные пути превратить страну в сильную державу? Может, вовсе не следовало разводить обильной народной кровью цемент для строительства государственного фундамента? И с войной неясно: почему это изначально страну записывают в проигравшие? Были в России

войны и раньше, и побеждали, без концлагерей и массовых расстрелов.

Такая забывчивость сродни предательству.

Евдокия Васильевна спрашивает, как с операцией, всё ли хорошо обошлось? Рассказываю историю про нательный крестик. У Евдокии Васильевны загораются глаза. Она поддвигает табуретку поближе и готова слушать. Про крестики — это ей близко. Говорю, что нынче во всех без исключения больницах перед операцией предлагают снять нательный крест, что, в общем-то, немисливо православному человеку. Евдокия Васильевна согласно кивает:

— Как же! Крест наша защита, наша надежда и упование. А тут — снять! Чего удумали...

Продолжаю историю про отношение современных медиков к кресту. В хирургическом отделении Республиканской больницы, в пору заведения замечательным хирургом и моим добрым товарищем Владимиром Шорниковым, на просьбу операционной сестры снять крестик я ответил: «Только с головой». Она без лишних слов забросила цепочку мне на нос, и этим всё закончилось. В другой раз уже в хирургическом отделении Республиканского онкодиспансера на косяке у двери палаты заметил целую гроздь нательных крестиков.

— Почему они здесь? — спросил у постовой сестры.

— На операцию с крестом нельзя, вот и снимают.

Хотел спросить, почему же они не надели крестики после операции, но не спросил, подумал, вдруг они в палату не вернулись. Ведь если так легко отказались от Бога, отклонили его защиту, и Бог мог отказаться от участия в их судьбах. Сам крест надел, сам снял, сам и живи, если, правда, сумеешь.

Евдокия Васильевна горестно кивает головой. Глаза у неё набухли и готовы излиться слезами. Я уже пожалел, что затеял этот разговор. Но продолжаю. А недавно в хирургическом отделении Больницы скорой медицинской помощи с крестом вышла целая история. Сёстры отделения раздели, уложили, накрыли простынёй и попросили снять крестик. Я говорю: «Только с головой». Привезли в операционную, и слышу, кому-то кричат:

— Большой крестик не снимает.

— Принципиально?

— Принципиально.

И тут началось: и не положено, и мешает, и про возможный в ходе операции электрический разряд, которым меня точно убьёт. Потом стали вспоминать, мол, у одного золотой крестик пропал, а нам потом ищи. Я отвечаю: мешать крестик не должен, поскольку он у меня на шее, а резать станут ниже пупа, и не дойдёт ни до каких электрических разрядов, и крестик у меня алюминиевый, по цене самый что ни на есть грошовый...

И пока шла пикировка с медсёстрами, меня привязали, дали наркоз, а дальше всё происходило уже без меня. Первое, что услышал, проснувшись в палате ИТАР:

— Девочки, а чья здесь цепочка в конверте?

Наркоз ещё не отошёл, глаза не разлепляются, губы пересохли. Хриплю:

— А крест где?

— Нету никакого креста. Одна цепочка.

— Не нужно мне цепочку, ищите крест.

Бросились искать. Всё перерыли — нету. Вдруг одна из сестёр догадалась:

— Голову ему поднимете. Наверное, там.

Чьи-то ловкие руки подняли голову, и точно: крестик оказался ровно под моей шеей. Когда цепочку расстегнули и выдернули, он остался со мной, не выдернулся. И я подумал, раз крестик остался и я все эти долгие часы небытия лежал в таком же распятом положении, как и образ Спасителя на нём, значит, Он меня не оставил и, может, ещё поживу немножко.

Евдокия Васильевна не выдерживает, закрывает лицо фартуком и уходит.

— Ну, старик, пугаешь ты нас своими похождениями. Завязывай с этим. Давай-ка ещё по одной. За то, что Бог не оставил. Но помни: оставил не просто небо коптить, а для работы. Книгу о Канале добивай. Добьёшь, я деньги достану. Есть тут один жмот богатенький, даст. Я предварительный разговор с ним уже составил.

17-й шлюз. Детство

Однажды в школе задали сочинение на тему о самом запоминающемся событии зимы. Я описал путь из шлюзового посёлка в соседнюю

деревню, — чёрное ночное небо в звёздах, замёрзшие руки... Я всегда плохо переносил холод, и мама купила для школы полевую сумку через плечо. Она звала меня «мерзляк». Описал едва различимый в свете звёзд узкий санный след, при котором приходилось валенки ставить в нищотку, и лисицу, что бежала неподалёку, возвращаясь с обхода наших сараев...

Сочинение понравилось мне самому. И очень было обидно, когда получил за него двойку. До сих пор не знаю, за что меня так.

Школу я не любил. Она всегда была в тягость. И начальная, в деревне, с первой учительницей, крупной и громогласной Таисией Михайловной, и вечерняя, когда уже работал. Мы приходили утром, и первым делом следовало отогреть замёрзшие чернила в чернильнице. Печи в школе топили с утра, и за ночь чернила замерзли. Мы их отогревали в ладонях, прислоняли к горячему боку печки, тыкали внутрь перьями ручек. Перья иногда гнулись, и это создавало немалую проблему: они были дефицитом, за ними нужно было ехать в город. Писать разрешали только пером номер 78. Попытки использовать номер 66-й («гусиная лапка») карались. Только 78-й номер давал нужный нажим, рекомендованный специальной тетрадью с образцами почерка — прописью. Лапки 66-го номера нажима дать не могли, хотя писать им было намного легче.

Пресекались попытки писать левой рукой. Но я левша. Помню, однажды Таисия Михайловна увидела, что пишу левой, и на целый урок привязала мою левую руку к спинке парты. Зато теперь могу писать правой и левой. Правда, нынче это неактуально: компьютер, как известно, требует участия обеих рук.

Единственной радостью начальной школы в деревне была большая перемена. В отдельной комнате стояла громадная жаркая печь, на печи большой парящий бак с крепким чаем, а на подносе гора коричневых булочек. Среди дурманящего запаха булок и чая возвышалась женщина в фартуке неопределённого цвета. Она зачерпывала половником чай, наливала в стакан и давала тёплую булочку. Чай стоил три копейки, булочка шесть. Только ради этого праздника большой перемены и стоило ходить в школу. Я всегда просил булочку с коричневой до черноты корочкой. Женщина выбирала её мне с подноса и

подавала со словами: «Смотри, жена чернявая попадётся». Не угадала.

От нашего 17-го шлюза до деревни километра два с небольшим. Мы выходили группой человек по пять-шесть и, бывало, вваливались в школу только к третьему уроку. Особенно поздней осенью, когда на лужах и озёрах в карьере вдоль дороги становился первый лёд. Это же настоящий праздник! Пока все лужи обкатаем, пока изваляемся... Или весной, когда изгороди в полях оттаивали и рядом появлялась узкая полоска земли. Мы пробирались по этой полоске подальше и прыгали с изгороди в рыхлый и влажный сугроб, застревая иногда по грудь.

Страшным наказанием была записка учителей родителям. Что в них писали, не знаю, никогда не решался прочитать, но мама хмурилась и уходила куда-нибудь переживать. Мне оставалось искупать вину работой. Работы дома всегда было хоть отбавляй.

Катастрофа в моей личной жизни произошла после четвёртого класса. К нам приехала погостить Валентина, Валентина Григорьевна, моя двоюродная сестра. Дородная, высокая, властная, Валентина работала в маленькой школе соседнего с Медвежьегорском посёлка Вичка. Была она там одновременно директором, учителем и всем остальным, кроме истопника. Дня через два, когда надоели застолья и иссякли рассказы, она решила меня проэкзаменовать. И тут выяснилось, что я не знаю таблицы умножения. Как, гремела Валентина, как, негодовала: ему в четвёртый класс идти, а он трижды пять не знает! Что он будет делать в классе?! И так далее, и тому подобное. Тут же было решено отправить меня вместе с Валентиной в её школу на исправление. Что и было сделано уже через пару дней.

Пока прерву свою повесть о жизни в Медгоре, чтобы рассказать о моём дружбе с 17-го шлюза Николае.

У него всё было иначе. Отец Николая, дядя Гриша Козырев, командовал караулом на охранные шлюзы и плотины. Крайний дом посёлка служил караульным помещением, его называли гарнизоном. Там жили солдаты. Сами Козыревы квартировали в нашем доме, как и все работники, но жили по-особому. Мы не могли ввалиться к ним когда заблагорассудится, как вваливались к другим. «Григорий Андреевич

отдыхает», — тихо говорила Колина мама, твёрдой рукой выпроваживая нас в коридор. Или: «Григорий Андреевич обедает». Что мальчишки, раз-другой выпроводили, и больше никакого желания ходить не станет.

Сам Козырев прост и великодушен, но вне службы. Не дай бог сунуться не туда в час, когда он обходит посты или пребывает в гарнизоне, — жди беды! И промурыжит с полчаса, да ещё родителям выволочку прилюдно устроит. Но когда отдыхает, гуляя в распахнутом старом кителе без погон, — просто душа-человек.

Коля всегда опрятно одет. У Козыревых швейная машинка, единственная на весь посёлок, зависть женщин. Колина мама перешивала для него отцовские вещи. Причём получалось так ловко, будто из магазина. Учился он легко, учителя его любили и никогда не мучили, как меня. А на праздники в школу всегда приходил Колин отец. В мундире, грудь в наградах, шумно входил в класс, рассказывал о героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.

О фронтовом прошлом говорил и шрам — жёсткая отметина на лбу выше правого глаза. Может, осколок гранаты, шептались мы, стоя в шеренге, или даже вражеская пуля. Козырев говорил громко, рубил рукой воздух, и медали дружно звякали на груди, подтверждая сказанное. И директор, и учителя стояли рядом, кивая головами.

Вопросов дядя Гриша почему-то не любил. Делал вид, что не расслышал, или снова громко говорил про героизм советского народа на фронтах великой войны. Я спросил однажды у Коли, в каких войсках воевал отец. Незадолго до этого взял книжку в деревенской библиотеке про разведчиков, и она мне очень понравилась. И подумал, что столько наград может быть только у разведчика — ведь у них что ни вылазка во вражеский тыл, то самый настоящий подвиг. Коля замялся и как-то неуверенно ответил, что, кажется, в танковых войсках. О-о-о, танкист, обрадовался я. Недавно читал про танкистов, про Т-34, Курскую битву. И решил, спрошу дядю Гришу, вдруг он тоже воевал там. Козырев остановился, глянул подозрительно и ответил вопросом: а тебе, сопляк, какое дело? Наверное, военная тайна, решил я и больше с вопросами не приставал.

Учиться в четвёртый класс к Валентине в Медгору я ехал один. Мама купила мне кепку и проводила до первой горки, торопливо поцеловала и вернулась домой — ей нужно было выходить на работу во вторую смену. Я вообще не помню, чтобы она меня когда-нибудь целовала ни до, ни после. А я пошёл в райцентр. Идти предстояло километров шесть, потом через весь город к вокзалу, купить билет и ждать поезда. До Медгоры, где на улице Северной жила Валентина с мужем Павлом и родителями, поезд шёл часов пять.

Что это за город Медвежьегорск, я не знал, где искать Северную, тоже — это я должен был сообразить сам. К тому времени я был почти большой — без малости десять лет. Позже, на каникулах, я ездил домой совершенно спокойно, часто даже без билета, ловко ориентируясь в вокзалах и поездах. Хитрость тут была в следующем. Я заметил, что перед проверкой билетов один проводник проходит вагон навозь и запирает дальнюю дверь. Потом начинается проверка, и безбилетники оказываются в западне. И очень скоро у меня оказался собственный ключ от вагонных дверей...

До сих пор помню горечь паровозного дыма в окне, высокую водонапорную башню на станции Идель с огромной дырой посередине от прямого попадания снаряда. На станции Надвоицы ходил по вагонам, да не ходил, ползал на култых, солдат-фронтвик. Солдат пел и рассказывал что-то, рассчитывая на подаяние. Был он до блеска замызганный и грязный, но с каким-то озорным и даже яростным огнём в глазах. Возле большой привокзальной лестницы стоял крашенный зелёной краской пивной «шалман», каких много было в то время в городах и даже посёлках. У нас в деревне Выгостров тоже был такой.

Снов о жизни на Северной немного. Ярче и радостнее всего предстаёт дорога в школу и обратно. Метрах в двухстах от нашего дома город заканчивался, и улица превращалась в просёлочную дорогу к посёлку Вичка. Слева и справа простирались большие поля, пашня. Здесь я впервые увидел, как растёт капуста. Если идти не по дороге, а между гряд, можно набрать целый карман стреляных гильз.

До сих пор вспоминаю эту картину: неширокая полевая дорога меж громадных, как мне казалось, цветущих пашен! Пространство, напол-

ненное воздухом и светом! У нас на севере таким пространством были только болота. А это, согласитесь, немного не то.

Валентина Григорьевна — учитель жёсткий, авторитарный, её резкое хлопанье линейкой по столу, как выстрел из винтовки, до сих пор стоит в ушах. Она возвращалась из школы домой, садилась за составление планов на следующий день, и я обязан был сидеть напротив за своими уроками до тех пор, пока не вставала она. Скоро весь пройденный материал я стал запоминать с урока дословно, и многочасовые сидения напротив превратились в пытку.

Жизнь в маленьком домике на Северной представлялась двумя сторонами. Одна наполнялась всегдашней суровостью властолюбивых женщин: старшей сестры отца, крупной Прасковьи Ивановны, и её дочери, моей учительницы Валентины, и другая теплом и опекой мужчин, мужа тётки, Григория Васильевича, и мужа Валентины, Павла. Как понимаю теперь, оба они испытывали от женской половины не меньше моего, всё понимали и, как могли, оберегали и поддерживали меня.

Мне очень хочется рассказать и о тишайшем дяде Грише, и о смелом и решительном красавце Павле, но, боюсь, это уведёт повествование в сторону. Григорий Васильевич переоборудовал одну комнатку под мастерскую, поставил верстак, наполнил инструментом и целые дни проводил здесь. Он был замечательный столяр. Однажды построил мне настоящий планер. Конструкция была настолько тонкая, из таких тоненьких и хрупких палочек, с крыльями из папиросной бумаги, что казалась невесомой. Я удивлялся, как вообще можно было всё это выстрогать и составить.

Павел всю жизнь шофёрил. Где надо — жёсткий, решительный и принципиально обязательный, где надо — весёлый и лёгкий на слово балагур, душа любой компании. Павел, а правильнее, по паспорту, Ипполит, до сих пор представляется мне образцом мужского отношения к жизни. Уже позже, в 80-х и начале 90-х, когда я сам стал далеко не юн и по газетной надобности заезжал с ночёвкой в Медгору, мы с ним выпивали и много разговаривали. Вот тогда я узнал, что Павел мальчишкой прошёл войну, вначале с белорусскими партизанами, а потом полковым развед-

чиком, имел боевые награды, включая солдатский орден Славы. Валентина, чей боевой опыт исчерпывался работой в должности корректора армейской газеты в двухстах километрах от переломной, в эти годы ездила на бесконечные сборы ветеранов, писала многочисленные статьи в районные газеты; в пиджаке, увешанном многочисленными значками, важно высиживала в президиумах собраний и говорила речи. Павла никуда не приглашали, да, видимо, и не знали о его существовании. А он, комментируя за стопкой патристическо-просветительскую активность супруги, с улыбкой матерился: «Вот по таким фронтовикам скоро будут представлять войну у нас в Отечестве».

В середине 90-х газетная нужда привела меня в Медвежьегорск. Сделав дела, зашёл на улицу Горького, но Павла не застал. Валентина ответила резко: «Наверное, в гараже с друзьями празднует». Это было незадолго до её ухода. Выглядела она очень больной и как-то разом постаревшей. Мы выпили чаю, поговорили о том и о сём. Валентина попросила достать с антресолей старый фибровый чемодан. Чемодан оказался с верхом набит множеством газетных вырезок, поздравительных открыток и писем от подруг-ветеранов. Она вытащила из-под вороха пакет, туго перевязанный шнурком, и передала мне. «Пусть у тебя будет. Мало ли пригодится».

Дома я нашёл в пакете тугую пачку пожелтевших от времени писем. Она получила их с фронта от первого мужа. Его тоже звали Павлом. До войны он работал директором маленькой школы в карельском посёлке. Несколько дней я читал эти письма. 93 письма — невероятно тяжелое чтение, когда заранее знаешь, чем всё закончится. И вот что я узнал.

...Павел и Валентина поженились очень рано, лет в 19, и прожили вместе только полтора месяца. В 1939 году его призвали в армию, на действительную (так говорили раньше), но служба невероятно затянулась: началась Советско-финляндская война, а через год, как известно, грянула Великая Отечественная.

Письма Павла первых месяцев разлуки наполнены горячечным нетерпением и безудержной страстью. Я его понимаю. Только что в руках была любимая женщина, его сокрови-

ще, его счастье, только-только он испытал невыносимый, бездонный восторг обладания, и вдруг разлука! Как можно это пережить, как смириться — в 19-то лет!

«Пройдут суровые дни войны, переживем все горести и невзгоды, причиненные войной, и будет тогда веселый день, возможно, весенний, залитый солнцем и ароматом цветов, возможно, осенний, с кружащимися над головой листьями золотисто-багряного цвета, возможно, зимний, с искрящимся до боли в глазах снегом, — безразлично. Это будет день нашей жизненной весны, счастливейший день нашей жизни!»

Настал 1942 год, декабрь. Павел уже немного остыл, но так же торопит время и мечтает, мечтает, мечтает. Среди фронтовых хлопот и буден он ищет любую возможность дать весточку о себе, передать какую-нибудь вещь либо посылочку. В свете копилки написал карандашные портреты, собственный и её, и с извинениями послал. Однажды отправил сапожки, сшитые для неё на заказ ротным сапожником...

По военному времени она живет не очень далеко. Её город стал военной столицей республики, там военные штабы, гражданские учреждения, театр, кипит жизнь. В редакционном коллективе армейской газеты, где она работает, много мужчин-офицеров. Он ищет любую, пусть самую невероятную возможность выбраться к ней, увидеть своими глазами, прикоснуться. Однажды в части объявили конкурс художественной самодеятельности. Приз — поездка в город и выступление в сводном концерте. Он собрался, подготовился и победил...

Но идут дни, чередой проходят недели и месяцы, и вот уже в очередной раз новый год на календаре сменяет год старый. Тон переписки исподволь изменяется. Все чаще ему приходится выслушивать от неё странные упрёки и постоянно оправдываться: не вовремя ответил, неудачно пошутил, сухо (мало) написал в предыдущем письме... И хочешь того или нет, но начинаешь догадываться, что появилась у неё собственная, отдельная от него жизнь. Она часто раздражается; он начинает ей мешать, тянет назад в однажды уже пережитое прошлое. И она перестаёт поддерживать его постоянные обращения к прошлому, перестаёт откликаться на его мечты об их совместном и таком неясном еще будущем...

«Как странно: мы привыкли мерить свою любовь друг к другу количеством написанных писем...»

А что он мог тогда предложить ей, молодой, агрессивной красивой и уверенной в себе, кроме памяти о крохотном полуторамесячном счастье до войны и фантазий о будущем? Ничего.

«Вот кончится война, я демобилизуюсь и в мае приеду домой, а у тебя уже сынишка будет! И будет мы жить счастливой семейной жизнью. Как будет хорошо!»

Павлу нет еще и 24, и я всё явственней ощущаю по тону писем, как он начинает понимать, что теряет, теряет, теряет жену безвозвратно.

С осени 1943 года тон писем сменился окончательно. Он всё еще вспоминает счастливую жизнь с ней до войны, мечтает о будущем, но всё суше и реже. Всё чаще между строк сочится суровица отчаянной и тяжелой мужской боли. Ах, как трудно ему осознавать крушение надежд! Как невыносимо смириться с болью неизбежной потери! Как чудовишно одиноко чувствует себя на тесных нарах сырого блиндажа долгими северными ночами...

Передавая мне письма, Валентина заметила, что после войны они с Павлом виделись только один раз. Демобилизовавшись, он уехал в центральную Россию; его пригласили на работу в райком партии, дали квартиру. Он якобы приезжал за ней, звал. Она осталась с родителями...

Какая это бездонная и вечная тема — письма первой любви! Беру с полки любимый томик и читаю вечное, от Фёдора Ивановича Тютчева:

*Она сидела на полу
И грудю писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.*

*Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...*

*О, сколько жизни было тут,
Невозвратно пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!..*

Потом случился январь с его ужасными в тот год морозами. Валентина ушла. Хоронить её пришли подруги, бывшие учителя. И много учеников, теперь немало поживших мужчин и женщин. Родственники выгребли с антресолей и из-под кровати все её чемоданы с бумагами, сотнями газетных вырезок и фотографиями и велели мне всё это забрать, иначе, мол, уйдут на помойку. Разбирая чемоданы, я натолкнулся на пожелтевшую четвертушку бумаги со знакомым почерком. Это было письмо Павла из воинской части, датированное 17 ноября 1944 года. Последнее письмо. То ли оно затерялось среди других бумаг, то ли сестра не захотела передать его мне с остальными и перечитывала до самого последнего дня — не знаю.

Павел писал, что уезжает, что ему предстоит «большой путь». Все последние дни наполнены хлопотами, и потому он так долго не отвечал. Павел бодро сообщает, что побывал в её городе, виделся с родными и остался доволен поездкой.

После 93 предыдущих писем читать это последнее невероятно тяжело. В нём как будто всё те же слова: «Валюша...» «моя дорогая...», «целую...» — но нет чего-то самого главного. Я много раз перечитал его и, кажется, понял: в письме напрочь отсутствует любящее сердце. Павел переболел, перемучился и признал потерю — смирился. И его сердце окаменело для неё.

Но и у Валентины грядут перемены. Война заканчивается, штабы и учреждения тронулись за войсками, переводят в Ярославль и их редакцию. Она спрашивает, как теперь ей быть? Его ответ невероятно, невысказанно ужасен: «Как хочешь...» И даже неприменные его воспоминания о былом их счастье в последнем письме легки и словно бы мимолётны...

Так закончилась эта любовь, погибшая безвозвратно за четыре месяца до Победы. И кто в этом виноват — война ли, ветреность юности, она или он — не нам судить. Хотя и жалко погибшей любви ну прямо до слёз. Мы-то ведь знаем, что сама любовь никогда и ни в чём виновата не бывает. Но гибнет всегда безвозвратно.

«Ну вот, кажется, и всё. Кратки письма наши стали... Эх, как жаль минувшие золотые дни! Но всё проходит... Пиши, дорогая, если даже и не придётся нам свидеться, всё равно пиши. Всё неясное станет ясным, ты только ориентируйся по

своему сердцу, если оно подскажет, что надо писать, значит, пиши и будь уверена, что от меня ответ будет обязательно. Ведь всё зависит полностью от тебя, ты это запомни раз и навсегда, но не кичься своими правами и знай, что я измены не прощу и дурачить себя не позволю. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать. До свидания. Целую. Твой Павел».

Вспоминая жизнь на Северной, было бы несправедливо не представить другую мою тётю, Екатерину. Она на 14 лет моложе Прасковьи и характером отличалась кардинально. Екатерина, тётя Катя, жила на улице Санаторной, сразу за речкой Кумсой, с шутником и балагуром дядей Яшей, и работала в столовой. Походы к ним были настоящим праздником! Ни грубого слова, да что там грубого, громкого слова не произносилось в этом доме. Тётя Катя источала только любовь и ласку! И накормят здесь, и обласкают, и пирожков в дорогу дадут. Просто невероятно, как в одной семье могли появиться такие разные по характеру люди. Они и отца-то вспоминают по-разному: Прасковья — только Димка, а Екатерина — Дмитрий и Дима. Наверное, поэтому я не помню, чтоб тетя Катя когда-нибудь появлялась на Северной, а тётя Паша на Санаторной. По пути с вокзала или на вокзал я иногда заходил к тётке Кате на работу. Она выходила всегда радостная, выносила что-нибудь сладкое и смотрела с выражением такой все поглощающей нежности, что хотелось плакать.

2011 год, июль. Город

Позвонила участковый терапевт: «Тихон Дмитриевич, где вы? Мы вас потеряли. Я оставила в регистратуре талончик для вас к онкологу». Вот тебе раз! Милая женщина, этот наш участковый врач. Представляю, как трудно было ей, бедной, в студенчестве. Наверное, ребята в общежитии с ума сходили, каждый норовил зажать где-нибудь в укромном месте. И ведь не скажешь, что писаная красавица. А вот есть что-то в таких, манящее, обещающее нашему брату нечто неземное. Как говорил герой одного боевика, жаль, что меня там не было. Интересно, сами-то они знают об этом? Похоже, знают, а которые ещё и используют на полную катушку. Вот

и наша участковая возрастом за полтинник, а всё шпильками ноги мучает, даже на работе.

Взял я этот талончик и пошёл: от терапевта к онкологу, от онколога к химиотерапевту, от химиотерапевта на дневной стационар. Разговор ласковый: хирург, конечно, всё убрал, что видел глазом, но мало ли чего не увидел? Мы полагаем нелишним провести лечение. Ну, на всякий, как говорится, случай. И вот сегодня четвёртый день после очередного курса химии. Четвёртый день, доложу я вам, самый поганый из четырнадцати промежуточных дней между курсами. Становишься вялый, и всё время хочется спать. Вся энергия организма брошена в контрадку против злобного лекарства, закачанного в кровь за трое суток.

В беседе с доктором отвечаю, что последствия мой организм ликвидирует через шесть-семь дней. Она: «Это потому, что вам провели пока мало курсов». Я: «Означает ли это, что к концу года вы сделаете меня инвалидом?» Молчит, поджала губы и старательно пишет что-то. Думаю, эти сделают. Вывод какой? Торопиться нужно, иначе не успею ни мамину просьбу выполнить, ни книгу дописать. И с какими глазами мне потом с мамой встречаться? Там. Что я ей скажу?

Работаю сразу над двумя книгами: наново правлю и кое-где переписываю очерки для сборника. Мне пришлось много поездить по деревням, и чаще всего нет там идиллии, знакомой по книгам городских литераторов, но только разруха и тлен. Бедная российская деревня выдержала столько ударов от власти, что диво её хоть какая-то нынешняя жизнь. После Гражданской войны и большевистского разграбления периода раскулачивания-расказачивания, обернувшегося тотальным голодом 30-х годов, свалилась беда Великой Отечественной войны, с пожарищами и новым, теперь уже послевоенным, голодом. Деревня только-только стала подниматься, ей придумали новую засаду — выдуманную проблему «неперспективности». Мы уже позабыли, но в коротком изложении произошло следующее. В конце 50-х группа московских умников решила окончательно похоронить традиционную крестьянскую Россию. В Академии строительства и архитектуры СССР (!) высчитали, будто

80% от общего числа сёл и деревень страны непригодны для превращения в подобие городских поселений. А коли так, зачем их содержать? Зачем там школа, почта, магазин, больничка или фельдшерский пункт, зачем чистить дороги и строить мосты, содержать электрические и телефонные линии? Накладно это, если для каждой деревушки. Предложили: давайте свезём всех в один посёлок и уже здесь устроим деревенским обитателям настоящий коммунальный и культурный рай. Во-первых, привьём коллективизм, так и не привитый колхозами, приобщим к культуре посредством строительства дома культуры, и, во-вторых, государству выйдет большое облегчение в материальном смысле.

Любопытно поставленный вопрос, не правда ли? Почему не спросили самих деревенских, как они представляют себе коммунальный рай? Я убеждён, что представления об этом у них с москвичами оказались бы разными.

Правительство приняло специальную программу, чтобы в сжатые сроки осчастливить крестьян страны. Правительство всегда с радостью принимает идеи, если они сулят экономию на населении. И всегда ошибается, платя за ошибки втройне. За 20 лет внедрения государственной программы по борьбе с неперспективными сёлами и деревнями все убедились в пагубности идеи архитекторов с московского асфальта. Однако за это время партийные и советские власти успели уничтожить более половины сёл и деревень страны. Особенно пострадала от этого варварства Нечернозёмная зона России.

И что же дальше? А дальше на головы неожиданно свалилась новая проблема. Оказалось, что российское село стало плохо кормить городских фантазёров. И тогда пришлось принимать новую государственную программу, теперь по «подъёму Нечерноземья», затрачивая на неё многие миллионы рублей.

Помните: хотели как лучше, а получилось как всегда...

У нас в Карелии борьба с неперспективными сёлами и деревнями велась яростно. Как при раскулачивании и иных подобных гнусностях центральной власти, в Карелии всегда старались бежать впереди паровоза. В республике остался в живых 151 населённый пункт из 608 существовавших ранее.

Пишу об этом и живо представляю, как станет кривиться лицо моего друга Николая. Ведь он-то и есть нынешняя власть, такая красивая, в финской белоснежной сорочке, с английским галстуком и в немецких блистающих туфлях. Ведь его партия все последние двадцать лет реформирует местное самоуправление и приближает власть к народу. Что из этого выходит на самом деле, мне известно. Включаю в сборник несколько очерков о деревне, что в ста километрах от столичного города. У меня там знакомый дед-фронтовик, но чую у него во время выездов на рыбалку, слушаю истории из прошлой жизни. Был там свой сельский совет, решал проблемы дорог, дров, огородов, сенокосов и прочих важных для людей забот вроде выдачи свидетельств о рождении и справок о смерти. Власть в центре приняла новую программу «приближения», и сельсовета не стало. Новая деревенская власть переехала за 16 километров, в посёлок лесозаготовителей, и стала называться «администрацией». Показалось маловато. Ведь по современной традиции принятое вчера сегодня нужно «углубить и расширить». И вот вам новая программа переустройства жизни на селе, более совершенная. Теперь сельская администрация переехала вовсе за 36 километров от деревни, к магистральной дороге, и все неизбежные заботы о дровах, покосах и огородах деревенским теперь приходится решать в райцентре.

И никаких справок! Упаси боже! Новая программа власти о приближении к народу предусматривает разделение полномочий. Местные администрации, скажем, от регистрации браков отстранены. Сколько раз приходилось видеть, как нарядные жених и невеста в белоснежном платье вместе с сонмом родных и гостей усаживаются в деревне в легковушки и в клубах дорожной пыли колонной едут в райцентр торжественно регистрировать брак. 70 километров туда и 70 обратно.

Да что там говорить, если из официального употребления вместе с сёлами и деревнями исчезли уже и населённые пункты. Мы все теперь живём в поселениях. Поселенцы мы в родном Отечестве, вот в чём беда.

Вывод печален. С началом XX века руками чужих, нерусских людей русского человека целенаправленно лишают Дома. Исторический романист Дмитрий Балашов так определял сак-

ральное значение Дома для русского человека: «Дом — когда семья, земля. Когда своя земля, когда своя семья и уже знаешь, веришь, что своя и навек». Вот за такой Дом ходили на рать, бились и побеждали. Именно его отняли у русского, переселив в безликую железобетонную коробку и отобрав землю и свой дом. И теперь порой не сразу поймёшь, русский ли он или чужеземец-перекати-поле.

И почему-то кажется мне, что плакал мой сборник. Не найдёт для него денег мой всемогущий друг Николай.

Появляется жена. Она живёт теперь на два дома: неделю здесь, неделю у внуков. Отлежится дома, кое-как, кряхтя и завывая, восстановит спину мазями и колючками иппликаторов, как снова звонят: приезжайте, молодым родителям нужно срочно куда-то ехать, бежать, у них неотложные дела, а внуков некому досмотреть. И всё начинается сначала.

— Что у тебя с книгой? — спрашивает подозрительно. Вижу, настроение у неё сегодня неважное. — Готова?

Жена знает, что Николай торопит. И самой хочется сборник в руках подержать. Она всё моё читает, выискивает опечатки, ругает за стиль — учитель русского языка и литературы всё-таки. Имеет право.

— Готовлю вот, только думаю, не издадут: невыгодно им деньги на такое тратить.

— Опять критики навёл? Сними, какая проблема? Что ты там напишешь, чего не напишешь — ведь им всё равно. Зато у тебя книга выйдет. Ты же про людей пишешь, им будет приятно.

— Сними тут, сними там... Зачем мне такая книга? Будет торчать на полке как укор. Да и приятности делать никому не нанимался.

— Колю бы слушал. Звал ведь поработать на них. Денег бы дали. А то гордый, а как книгу издать, христарадничаешь.

Мудрейшая Алла Александровна, главный редактор еженедельника, куда иногда отношу свои тексты, подчёркивает острые абзацы и всякий раз с укором говорит: «Думайте о детях, Тихон Дмитриевич. О детях». По-женски она права. У женщин свой взгляд на проблему, которую один наш знаменитый предатель определил так: бодаться с дубом. Так ведь если дуб не бодать, он ведь так и будет торчать.

17-й шлюз. Отец

Сегодня годовщина отца. Отец умер рано, ему не исполнилось и 56 лет. Два ранения на фронте, а после войны от нужды и голодухи туберкулёз, за ним язва желудка. Это не прибавляло оптимизма. Наступил момент, когда он просто махнул на себя рукой. Да и характер у отца был такой, что страдать на людях он не мог, пустившись в старинную русскую забаву запивать проблемы водкой. Врезал хорошенько, переболел-похмелился, и вот тебе новая жизнь вперёд.

Всерьёз тосковать отец начинал только за несколько дней до военных праздников. В первые день-два еще приходили друзья, гомонили за столом — дым коромыслом. Потом оставался один, ставил перед собой большую бутылку темного вина, которую почему-то называл «монахом», молча смотрел на лес за окном и долго-долго о чём-то думал, тяжело опершись на ладонь здоровой руки.

Бывало и так, что к вечеру, отяжелев, вдруг принимался рассказывать о войне и иногда петь. Ни из рассказов, ни из пения ничего не получалось — он начинал плакать и ругаться. Но именно в эти минуты услышал я от него песню, которую редко исполняли прежде и почти не исполняют теперь:

*Выьем за тех,
кто командовал ротами,
кто замерзал на снегу,
кто в Ленинград пробирался
болотами,
горло ломая врагу...*

От него узнал названия неведомых прежде мест: Мга, Назия, Синявинские болота, и что стволы у ППШ делали из плохой стали и после нескольких очередей автомат начинал «плевать» пулями на 30 или 50 метров. И пружина в диске-магазине была слабой и недосылала патрон, если ты набил его с вечера.

Справедливости ради следует сказать, что много позже я выяснил, что претензии отца относились не к ППШ (пистолет-пулемёт Г.С.Шпагина), а к ППД (пистолет-пулемёт

В.А. Дегтярёва), с которым, видимо, ему также пришлось иметь дело на фронте. Современные эксперты вообще убеждены, что в условиях боя исправление недостатков, о которых говорил отец, «делает владельца ППД потенциальным мертвецом». Много позже я проверил это по авторитетным источникам и обнаружил, что мнение отца разделил, к примеру, А. И. Благовестов в книге «То, из чего стреляют в СНГ: Справочник стрелкового оружия».

Тогда же, в детстве, услышал я от него, очень к тому времени нетрезвого, про ранение осколком гранаты в ногу и про другое ранение, другим осколком, который срезал локтевой сустав правой руки. Точнее, успел услышать, прежде чем он начал ругаться и плакать.

Из сохранившихся с детства обрывков отцовских воспоминаний, которые, как я понимаю теперь, давались ему мучительным напряжением воли, выходило, что война совсем не такая, как о ней написано в книжках и показывают в кино. Узнал я и то, что песня, которую так любил отец, называется «Волховская застольная». Написана она на слова поэта и военного корреспондента Павла Шубина — весёлого и талантливого парня, прожившего до обидного короткую жизнь. В восприятии фронтовиков песня стала гимном Волховского фронта, обросла мифами и вариантами так, что не разберёшь теперь, что в ней от Шубина, а что от иных стихотворцев. Так бывает только с настоящими талантливыми произведениями.

На Волховском фронте воевал отец, прорывая блокаду Ленинграда. Мне очень хотелось выяснить историю его войны. Это оказалось непросто — в истории противостояния наших и немцев вообще, и под Ленинградом в частности, много белых пятен, обыкновенной комиссарской болтовни, и мало фактов, на основе которых можно сложить целостную картину. Однако кое-что узнать удалось.

...Красноармеец Дмитрий Марютин попал на фронт, когда блокада ещё прорвана не была, но днями завершилась третья Синявинская операция. На фронте образовалось тревожное затишье. Вероятно, это его и спасло. Немало повидавший мужчина, он успел в эти дни осмотреться и понять, как себя вести на передовой. Многие фронтовики утверждали, что, если уцелел в

первые дни, если быстро соображаешь, у тебя появляется шанс выжить.

Отец воевал где-то в Синявинских болотах. Причём для тогдашней обстановки нереально долго оставался даже не раненым. Пять с половиной месяцев он прожил в этом пекле до первой крови. Из случайно услышанных мальчишкой разговоров о войне, обычно за столом с товарищами, промеж стопками (любимый тост: «Будем живы, Богу милы, а людям сам чёрт не угодит»), помню бурное неудовольствие оружием. Ругал гранату РГД, как мне говорили специалисты потом, напрасно. Чтобы поставить её на боевой взвод, нужно было повернуть и оттянуть в боевое положение рукоятку. Только тогда брошенная в цель граната взрывалась. Но чтобы проделать всё это, нужно, чтобы обе руки оказались свободными. Но ведь солдат воюет, бежит в атаку или обороняется. Куда ему девать оружие? А если зима, мороз, всё облеплено снегом, и граната — тоже?

— Ночью приказали выдвинуться по болоту, найти наши танки и дать знать танкистам, что подошли. Знак — взорванная на броне граната. Ходили, ходили, мокрые все, обледенели и замёрзли. Нашли танки. Бросаю гранату — не взрывается. Ищу её в болоте и снова бросаю, и снова не взрывается. Да мать твою так! Бью прикладом по крышке люка...

— Особенно лютовали снайпера. Головы не поднять! Чуть зевнул, и каска не выручит. Да и где она, эта каска? Но и шевелиться ведь надо. Как узнать, пристрелян окоп или нет? Делали что. Приклеишь окурочку на приклад и начинаешь поднимать из окопа. Хлоп, и окурочка нет...

И, конечно, редко и очень коротко отец говорил о том, с чем человеческая натура смириться не может. О смерти близких товарищей.

— Сидим кружком в воронке. Тихо вокруг, только поели, курим. Вдруг мина — бац! И тот, с кем только что ел из одного котелка и разговаривал, уже неживой. Самокрутка ещё дымит, а его уже нет. Думаешь, ну, в следующий раз очередь моя...

Так же неожиданно ранило в первый раз и его самого. Хотя применительно к передовой словосочетание «неожиданно ранило» глупое по своей сути. Отец вспоминал, было холодно — 18 марта 1943 года:

— Собрались потеснее в окопе, мороз, травим

байки. А наружу никто не смотрит. Вдруг кто-то выглянул и кричит:

— Мать вашу... Немцы!

Вскочили, смотрим, а немецкая цепь уже совсем рядом, рукой подать. Впереди во весь рост спокойно идёт офицер, судя по всему, пьяный.

Проспали...

На бруствере стволом по направлению в сторону офицера лежит наше противотанковое ружьё ПТР. Мой «первый номер» прыгает к ружью и бронебойным бьёт офицеру прямо в грудь... Потом у него маленький такой пистолетик нашли, дамский. Мужики мне его в госпиталь с собой отдали, мол, бабам в подарок.

В том скоротечном бою немецкая граната перелетела окоп бронебойщиков и взорвалась позади. Один или два осколка ударили отца в правую голень...

Однажды, пребывая в хорошем расположении духа, отец вдруг стал рассказывать, как проносили в госпиталь оружие. Я был мал и плохо понимал, зачем он мне это говорит. Оказывается, при поступлении в госпиталь у раненых отбирали всё — документы, одежду и, разумеется, оружие, если кто-то ухитрялся его с собой приволочь с передовой.

— Берёшь толстую книгу, страниц сотни три, откроешь, кладёшь пистолет, бритвой вырежешь по контуру, и готов кобур, — радостно завершил он своё инструктирование. Почему-то кобуру пистолета отец всегда называл «кобур», а револьвер «ревнаганом».

Мне было жаль испорченной книги.

— А зачем тебе в госпитале пистолет?

— Подарок, — ответил он туманно.

Наслушавшись и начитавшись рассказов фронтовиков, я теперь знаю, что с помощью таких сувениров легче было растопить окаменевшее от круглосуточного горя сердце какой-нибудь медсестрички. А доброе расположение женщины на фронте стоит любой испорченной книги.

26 марта 1943 года красноармеец Дмитрий Марютин вышел из госпиталя и через пять дней пребывания в батальоне выздоравливающих оказался в роте противотанковых ружей Отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 11-й Особой лыжной бригады 937-го стрелкового полка 256-й стрелковой дивизии. Было это 1 апреля 1943 года.

Отец провоюет еще пять с половиной месяцев. Я теперь знаю, что это невероятно большой срок для рядового солдата на передовой

Что представляла собой жизнь солдата на войне? Послушаем солдата Н. Никулина. Ленинградский мальчишка Никулин воевал где-то рядом с отцом:

«Солдаты имели страшный вид: почерневшие, с красными воспаленными глазами, в прожженных шинелях и валенках. Особенно трудно было уберечь от мороза раненых. Их обычно волокли по снегу на специальных легких деревянных лодочках, а для сохранения тепла обкладывали химическими грелками...»

«Хорошего солдата хватает на две атаки и одну рукопашную», — это из опыта другого пехотинца Волховского фронта С.В. Смирнова, может быть, соседа отца по окопу...

22 июля 1943 года началась очередная Мгинская наступательная операция. Ровно месяц работала эта мясорубка, перемоловшая 79 937 наших солдат и офицеров. Взяли две высоты «Огурец» и «Лесная», а также небольшой населённый пункт Поречье, как писали в генеральских донесениях, — «мощный узел сопротивления». Так можно было написать про любой хутор. Не мощных у немцев не было.

Отца тяжело ранило 15 августа 1943 года. Произошло это у моста через реку Мгу, на самом берегу. Вот как он об этом рассказывал:

— Мне дали в помощники легкораненого старшину и велели доставить в медсанбат тяжелораненого офицера. Спрашиваю, куда вести? «Туда!» — махнули рукой. Идём еле-еле, офицер стонет, старшина без конца выдыхается и просит остановиться. Ему тяжело. Жара, вонь, бьёт артиллерия, вокруг идёт бой.

Дошли до реки Мги и неподалёку от моста сели на пригорке покурить. Офицер лежит, мы со старшиной присели, отдохнули немного, поднимаемся. Я встал и только забросил правой рукой автомат за спину, как — ах!!! Снаряд рядом ударил...

Офицера убило сразу, старшину ранило ещё раз, теперь уже тяжело, а я стою, и мне хоть бы хны. Старшина с земли кричит: «Димка, у тебя руки нету!!!» Я плечами качнул, а из-за спины моя рука вываливается и висит как плеть. Твою мать!!! Смотрю, а пальцы скрючены и в них зажат

ремень ППШ. Осколок срезал мне локоть и перебил шейку приклада автомата. А я ничего не чувствую, и даже кровь не течёт! Автомат под мост бросил. Наверное, до сих пор там лежит.

Потом долго куда-то шли, потом брели, потом, кажется, ползли — медсанбат искали. Всё время пить хотелось, очень хотелось. Свалимся в воронку, а там грязно-бурая вонючая жижа, рукой сверху смахнёшь и пьёшь, пьёшь. Всё боялся сознание потерять. Потерял бы — там и остался.

Отец до медсанбата добрался...

В «свидетельстве о ранении», выданном 20 ноября 1943 года в эвакогоспитале № 5801 города Аргаяш Челябинской области, аккуратно перечислен весь длинный путь, проделанный им, начиная с мостика через Мгу: медсанбат (МСБ) — полковой медицинский пункт (ПМП) — снова медсанбат (МСБ-404) — передвижной походный госпиталь (ППГ-1787) — эвакогоспиталь №1855 — эвакогоспиталь №1103 — эвакогоспиталь № 1988 — эвакогоспиталь № 5801...

Спустя три месяца и пять дней переездов и лечения госпитальная комиссия признала красноармейца Марютина «негодным с исключением с учёта» по причине проникающего сквозного осколочного ранения правого локтевого сустава. Он признан инвалидом Отечественной войны второй группы. Правая рука висела только на коже и на нескольких чудом сохранившихся сухожилиях, а пальцы чуть-чуть шевелились. Отец вспоминал, что отрезать руку не дал, мол, всё не пустой рукав будет. Таких, с пустым рукавом, в то время по Отчизне было пруд-пруди...

О жизни на 17-м шлюзе зимой 1947 года, куда родители переехали из Коми, мама рассказывала:

— Квартирка у нас была небольшая, а морозы стояли страшные. Только в одной комнате, возле печки, на кухне, бывало тепло. Когда я купала тебя в жестяном корыте, отец становился у двери и широко распахивал полы полушубка. Если вдруг кто-то входил, клубы холодного воздуха не сразу доставали до корыта...

17-й шлюз. Детство

В нашем шлюзовом посёлке жил конь по имени Игорь, добрая душа. Заготавливать сено для него на зиму обязаны были все. В середине июля из поселковых обитателей собиралась бри-

гада и за несколько дней выкашивала прилегающие к домам покосы. Ни мать, ни отец косить не могли — мать разрывалась между работой и домом, отец из-за того, что правая рука не работала. Отца хватало лишь на то, чтобы помахать косой с полчаса, «сбить», как он говорил, траву где-нибудь меж кустами или вокруг кочки. Выходило так, что в бригаду следовало идти мне.

Помню, с каким неудовольствием встретили меня в первый раз. Мне едва исполнилось 14 — малокровный дохляк. Какой из меня мог получиться косарь, все понимали. Поселковые ворчали, мол, неравноценно выходит: мы тут работаем по-взрослому, а это пацан. Но я сказал, что не уйду: меня отец послал. Высказывать претензии отцу могло оказаться себе дороже. Отцовский нрав знали все. Мама говорила иногда: обругать мог так, что лучше бы ударил.

Но как же туго приходилось мне тянуться за взрослыми.

На следующий год отец отправил меня, уже опытного косаря, работать в сенокосную бригаду совхозного отделения в деревне. Уже за какие-то маленькие деньги. Помню громадное поле под названием «стрельбище» за 16-м шлюзом — края не видно. Становишься в ряд последним и думаешь, не дойду, никак не дойду... Впереди деревенские бабы машут косами как заведённые. И одна радость — остановишься поточить косу и нечаянно порежешь палец. Тогда хорошо — можно пропустить целый круг и отдохнуть минут двадцать.

После общего сенокоса на поселкового коня и работы в совхозной бригаде начинался сенокос домашний, для своей коровы и телёнка, если мама решала оставить его на зиму. Три тонны сухого сена для коровы и тонну на телёнка. Накосить, высушить, привезти и набить в сарай — норма для сытой зимы. В погожие дни с середины июля и весь август невозможно ни отлучиться, ни потерять часа. Скошенное сено, попавшее под дождь, теряло свои качества. Отец мог прийти в негодование, если бы мы не угадали и сено бы намокло. Правда, я не помню подобных промахов с нашей стороны. Если и не успевали собрать полусухое сено в копны, так в валы успевали всегда.

Как я завидовал Николаю в ту пору! Пока мы занимались сеном, поминутно поглядывая на небо, он сидел с удочкой на берегу и купался. Козы-

ревы в общих поселковых работах не участвовали, не косили на коня, не заготавливали дрова для общей поселковой бани. У них не было и огорода с грядками. Я как-то спросил об этом Николая. Он ответил, видно, повторив родительское: «Нас снабжают в особом порядке». Что это означало, я не знаю. Отец Николая, дядя Гриша, выходил только к общим застольям. В праздники в центр посёлка выносили из домов столы, ставили рядами и накрывали для общей гулянки. Козырев небрежно накидывал на плечи офицерский китель с колодками наград, подсаживался «к народу» и грубовато шутил, позволяя раз-другой налить себе полстакана. И, недосидев до конца, так же с грубоватыми шутками уходил.

Таким же общим торжеством со столами в центре посёлка меня провожали в армию. После застолья я трое суток пролежал пластом, получив, по словам нашей фельдшерницы Вали, пищевое отравление. Даже после службы ещё года три не то что выпивать, смотреть на спиртное не мог. При одном запахе у меня случался спазм в горле.

Из сенокосной поры часто вспоминаются ночёвки на сеновале. Когда свезли и укладывали первые воза, мама стелила поверху покрывало, и мы спали на сене. До сих пор снится дурманящий запах, зыбкая поверхность постели и почему-то стук дождевых капель по ближней — рукой можно коснуться — кровле сарая...

Ещё через год, в конце лета 1963 года, отец отправил меня на стройку искать работу. Мне вот-вот должно было исполниться 16. Пора. Я уговорил с собой Колю. Первым делом мы прошли в гараж. Гараж — завораживающий мир автомашин, шоферов, моторов и возможностей. Но нас не приняли. В конторке завгара сидел невысокий, кругленький и злой еврей: «Какую я вам работу дам? — спросил он хмуро. — Да вы баллонный ключ у меня не поднимете, не то что скат поставить! Давайте-ка отсюда по-хорошему».

На следующий день Николай рассказал, какую выволочку получил дома из-за меня. «С кем связался? — кричал отец. — У этой голытьбы одна дорога: в гараж или совхозную бригаду, коровам хвосты крутить. А ты учиться будешь. Тебе в люди выходить надо!»

Меня приняли учеником слесаря в центральные ремонтные мастерские на строительстве

ГЭС, и я перешёл учиться в вечернюю школу. Николай заканчивал учёбу в городе. Потом меня призвали в армию, а он уехал в школу милиции в Омск. Так закончились наши с ним детство и юность на 17-м шлюзе.

Вспоминаю, какое впечатление мои документы произвели в вечерней школе. Нет, директора удивили не сплошные тройки в аттестате за восьмой класс, но характеристика. В ней содержалась просьба не выдавать книги из школьной библиотеки, поскольку я «злоупотребляю чтением». Директор поднял глаза: «Правда?» Я кивнул. «Молодец, — неожиданно для меня ответила она. — Значит, есть надежда».

Да, будучи записан во все библиотеки округи, я явно злоупотреблял чтением. Чего уж там говорить. Стоило подогнуть крепления откидывающейся крышки парты, как образуется щель. В щель снизу поднести книгу, и вполне можно читать. Вот этим я и занимался, когда представлялась возможность. Проблема выходить в люди передо мной никогда не стояла, поэтому тройки вполне устраивали. До сих пор с теплотой в душе вспоминаю чёрный пахучий дерматин библиотечной двери в деревне, её потёртый матовый блеск. Ах, какие запахи наплывали, стоило только отворить дверь! Библиотеки, а позже архивы — мой сон, мои мечтания, моя несказанная радость!

Из той поры помнится непонятый тогда, удививший разговор с матерью. Мы пили чай. За кухонным окном кружился и медленно падал с рябин красный лист. Козырев шёл домой тяжёлой хозяйской походкой, как идёт буксир, только что освободившийся от каравана барж, — неукротимо и жёстко, не остановить.

— Ненавижу! — тихо сказала мама. — Всю их породу. Хозяева жизни. Безграмотные, агрессивные хамы! Мундиры, португеи... Тьфу!

— Что же так-то? — растерялся я. — Дядя Гриша ничего плохого нам не сделал.

— Мало ты пока знаешь, — ответила она неожиданно зло.

— Ну, есть плохие люди на свете. Но дядя Гриша...

— Из того же теста, — отрезала она, прервав разговор. — Орденоносец...

Мама приехала в Карелию, когда большую часть инженеров и техников увезли в Дмит-

ров, на строительство канала Москва — Волга, и БАМ. Оставшиеся в разговорах о муже прятали глаза и пожимали плечами: «Не знаем. Отправили куда-то...» Лагерное начальство её не принимало и объяснений не давало. «Пусть обращается в Москву, в ОГПУ». На третье письмо в Москву пришёл ответ: 10 лет лагерей без права переписки и передач...

— Я поняла, меня обманывают, нужно оставаться и искать. Платить за квартиру в Медгоре стало нечем. Соседка сказала, можно устроиться на Канал, там нехватка работников. Первый вопрос в управлении: кто по специальности? Нет, учителя не нужны. А рабочей на Северный шлюз поедете? Ну и хорошо. Шлюз 17-й, машина туда пойдёт послезавтра, документы у сопровождающего...

— А как познакомились с отцом?

— Просто. Он работал на Канале до войны. После ранений и госпиталей вернулся. Высокий такой, чёрный волос как проволока, взгляд в упор — сильный мужик. А сам тощий. Китель на нём, будто на вешалке. Его приняли механиком, а жить негде. Раз на разводе перед сменой начальник шлюза Степан Гаврилович в шутку говорит: «Ну где я для вас по отдельной квартире возьму? Вон Шура живёт в хоромах, аж две комнаты и кладовка. Одна. Поселяйся к ней, и живите». Вечером отец пришёл с бутылкой вина и большой шукой. Сварили уху, душевно обо всём поговорили и стали жить вместе.

— Ты говорила, что насмотрелась на энкаведешников...

— Насмотрелась. Я сначала в Медгоре жила несколько недель, да и тут их перебивало. Хозяйка квартиры работала в управлении и рассказывала, что был там у них один на южном участке трассы гад из гадов. Все его боялись. Заключённые грозились утопить, а он смекнул и вовремя перевёлся куда-то. Управленческие аж перепились от радости.

2011 год, июль. Москва, Никитин

Утром Андрей Леонидович Никитин провожает меня в архив, подаёт пальто (у него стиль — принимать и подавать пальто лично), за-талкивает в портфель бутерброды, бутылку с водой, напутствует: «От метро направо, потом пе-

реулок, потом... В архиве подать паспорт милиционеру, выйдет девушка, ей письмо, она выпишет пропуск, подняться на три ступеньки в коридор, пройти направо в отдел комплектования, там у окна слева Татьяна Александровна, а справа Нина Петровна, поздороваться и сказать, что я тот, о котором звонил Андрей Леонидович. Женщины милые, вам непременно помогут...»

Меня умиляет это его предупреждение: не забыть поздороваться...

Вчера за ужином мы успели наговориться про очерки, про творческое взросление писателя (традиционный рефрен Никитина: «Эх, Тихон Дмитриевич, почему не в Москве живёте? Провинция вас погубит!»), про ББК и о множестве других больших и малых проблем. Так бывает во всякий мой приезд. У нас много точек соприкосновения.

Взять тот же очерк...

— Литература, в особенности очерк, эссе — всегда неторопливая беседа людей, находящихся наслаждение в общении друг с другом, — убеждён Никитин. — Такие люди, ищущие собеседника из разных времён и стран, всегда найдутся, однако этих чудачков сейчас так мало, что нет никакого смысла писать, а тем более издавать для них книги.

Вот-те на!

Думаю, это у них в Москве такое настроение, типа, зажрались. У нас дело пока не зашло так далеко.

— К этому нужно добавить внутренние, сугубо творческие проблемы. Поскольку когда-то написанное не подлежит коренной переработке, если только вы снова не окунулись в те же проблемы и в ту жизнь и у вас есть чем дополнить. Я это понял, когда взялся переделывать свои мелкие очерки об археологических находках и открытиях. Вроде бы я и прописал их, да литературой они не стали.

— Почему так? Вещь ваша, вы в материале.

Никитин разлил по стопочкам-напёрсткам водку. Стопочки у Никитина лёгкого светлого металла, с красивым кавказским узором и очень маленькие, совсем крошечные. Верно, чей-то южный подарок, что, в общем, понятно: он немало потрудился над раскопами там.

— Не всё и не всюду можно, а главное, нужно добавлять. Добавляешь и видишь, как вещь не

становится объёмнее и богаче, а разрушается. Проблема тут не в технике собственно работы с текстом. Она гораздо глубже. Ведь на бумаге остаётся не наше видение мира, а наше состояние пережитого момента, невидимый нами самими отпечаток нашей личности и всего её состояния. Причём не вообще, но именно в тот, давно прошедший момент, когда мы писали тот или иной очерк. И ценность его — именно в этом отпечатке, который просто не может вместить отпечаток вашего нынешнего «я».

Возражения убедительные, но, честно говоря, мне не хочется отступать от затеи собрать книгу. Уже как-то смирился с мыслью, что она может получиться. Проза — не проза... Читателю на наши литературные претензии наплевать.

— Хорошо. В таком случае пусть не станут очерки литературой, но останутся временными, дневниковыми колышками эпохи, как остались очерки Валентина Овечкина, Василия Пескова, Анатолия Аграновского или Евгения Богата. Скажем, кто помнит землетрясение в Ташкенте, строительство Останкинской башни или подъём целины? Возьмите книгу Пескова и найдёте. И Богата читали и читают не для того, чтобы узнать, как чьи-то дети перессорились из-за наследства и обидели маму. Через его истории люди пытались и пытаются понять, насколько ожесточились, оскотинились сами, — продолжаю настаивать я.

— Вы полагаете, уважаемый Тихон Дмитриевич, что строительство Останкинской башни сегодня кому-то интересно? И подъём целины? Уверяю вас, современникам уже нет. А специалисты станут изучать минувший опыт не по очеркам. Вот вы пишете в своих книгах о Канале как очень интересном инженерном сооружении. А встречали ли на гидросооружениях современных инженеров, изучающих его шлюзы, дамбы и водоспуски? Уверен, что нет. Он остался интересен только нам с вами. И вовсе не устройством водоспусков...

Никитин разливает по стопочкам остатки из графина. Мы закусываем дальневосточной мидией из банки. Этой мидией, завезённой через всю страну, полны магазины, хотя на ферме в Белом море выращивают свою и не знают, куда её девать. Где он, Дальний Восток, и где карельский посёлок Чупа. Но меня убеждали, что из Чупы

мидия для торговли невыгодна, а вот из Дальнего Востока — да. Но тут, мне кажется, кто-то кого-то дурачит. Я догадываюсь, что дурачит всю страну. И давно.

— Не судите по себе, по мне или другим немногим, нам подобным, — Никитин продолжает развивать мысль о современном состоянии очеркистики. — Поскольку все мы ещё в той или иной степени графоманы, получающие удовольствие от самого мучительного процесса плетения словес. Сменяющее нас поколение привыкло пропускать через себя громадное количество информации. Оно менее всего способно остановиться в нескончаемом беге, чтобы вести неторопливую беседу. Завалиться на диван на полдня с книгой, которая не является рабочей необходимостью, — явление для молодых практически невероятное уже сейчас. Если взглянуть на дело шире, придётся признать следующее. Мы присутствуем при становлении (не рождении!) новой всемирной цивилизации, воспринимающей культурное наследие своей предшественницы, в которой мы с вами выросли, в качестве разве что музейного раритета...

— Но по существу ведь ничего не меняется в человеке, — отвечал я. — Всё это игра словами. Оглянитесь! Люди, дело — всё остаётся, обо всём интересно знать другим теперь и ещё больше будет интересно через много лет после нас. Пусть и не всем. Какое нам с вами дело до всех?

Никитин обрывает дискуссию. Я понимаю — ему сейчас не до очерков. На него недавно обиделся популярный филолог, которому показалось, что Никитин оспаривает точку зрения, высказанную в его академических трудах. А подобное поведение просто вызывающе и недопустимо. До научной дискуссии академик не снизошёл, решил действовать более эффективно: организовал травлю Никитина в прессе, обозвал дилетантом и историком-любителем, хотя прекрасно знал про диплом истфака МГУ и годы работы в поле руководителем археологических экспедиций.

В результате Никитину перекрыли доступ в издательства и журналы, рассыпали в типографии набор книги и объявили, что он может заниматься только экологией, Поморьем и Белым морем. Про остальное чтоб забыл. А главное, в «остальном» многолетняя исследовательская работа над

древнерусскими летописями и «Словом о полку Игореве». Отсюда, кстати, всё и пошло. Некоторые выводы Никитина о «Слове...» не понравились академику, такому утончённо интеллигентному и даже застенчивому по телевизору.

Белое море с Поморьем — моя тема, и тут есть о чём поговорить. И ББК — тоже: отец и мама Никитина в 30-е годы отбывали заключение на строительстве. То есть куда ни ткни — всюду заденешь больное для обоих.

Женщины в архиве на самом деле милые и отзывчивые. Прежде чем заняться делами, усадили пить чай и тщательно расспросили: чем занимаюсь, что успел узнать, что интересует теперь и главное — сколько у меня времени для работы здесь. Говорю, дней пять максимум. Качают головами: что можно разыскать в архиве за пять дней? Обещают посмотреть кое-какие фонды сами и, если что попадёт интересного, позвонят. Никитина они беспредельно уважают.

Удача улыбнулась на третий день. Я теперь знаю имя той, которую ищу. Знаю, откуда родом, почему арестована, кем и где работала. Просто редкая для исследователя радость!

...Передо мной стопка желтоватых листов — ордер, анкета, протокол первого допроса, автобиография. Понимаю свою ошибку. Я искал человека, а следовало искать контрреволюционную вредительскую организацию из 50 человек. Моя героиня оказалась в руководящей роли этой организации, получив за это от Коллегии ОГПУ 10 лет лагерей по 58-й статье, пункт 7 (вредительство).

Документы удивительные! Вот, к примеру, как просеивали арестованных, набирая, казалось бы, на ровном месте, сроки заключения. Вчитаемся пока не в ответы, а только в графы отпечатанного в типографии бланка протокола допроса. Пункт 10: партийность и политические убеждения. Вроде бы какое дело следователю до политических убеждений арестованного? Преступил закон — отвечай, вне зависимости от убеждений. Ан нет! В лагерях гэпэушники поделили всех на «социально близких», то есть уголовников всех мастей, и «социально чуждых», политических, врагов народа. И вот с первого же допроса, будто бы невзначай, арестованного определяют в ту или иную категорию.

Пункт 11 содержит ряд подпунктов. Вот, к примеру, подпункты «д» и «е»:

— где был и что делал в Октябрьскую революцию 17-го года?

— с Октябрьской революции 17-го года по настоящий день?

И как только моя героиня записала в автобиографии первую строчку: «Я происхожу из дворянской семьи. Отец мой морской офицер, служивший в Балтийской и Черноморской флотилиях...», следовательно сразу ясно: перед ним отнюдь не товарищ и даже не попутчик, а настоящий враг молодой советской республики. И ему одна дорога — в лагерь. И кем бы ни был отец, в глазах ОГПУ он оставался царским офицером-золотопогонником. И его дочь, кем бы ни была в своей инженерной жизни, что бы в реальности ни сделала для страны, сама по себе оставалась врагом и только врагом.

Шесть месяцев следствия оказывались простой профанацией. НКВД всё было ясно с самого начала...

Мою героиню зовут Натальей Евгеньевной Тобольцевой. Она окончила 2-й Политехнический институт и в качестве техника, прораба и инженера-гидротехника строила шлюзы на Шексне, где показала себя замечательным инженером. В результате быстро сделала карьеру, оказавшись к 1922 году в Министерстве путей сообщения, а затем в Центральном управлении водных путей. И кем эта умная женщина, редкой по тому времени мужской специальности, могла стать в будущем, можно только гадать. Может, известным в мире гидротехником или академиком, может, даже министром. Но судьба судила иначе.

Перелом в жизни инженера Тобольцевой, а с ней сотен тысяч россиян, произошёл по важной причине. Перед Россией встала новая военно-стратегическая задача — строительство судоходного канала, который должен связать Балтийское море с Белым морем и обеспечить возможность транспортного соединения центральных районов России с Арктическим побережьем.

Идея эта была не новая. Доброе столетие мечта о Беломорском канале витала в головах поморских купцов, а после Крымской войны и во властных кабинетах империи. Именно тогда, в 1856 году, обнаружилось, что Арктическое побережье никак и ничем не защищено. Англичане и фран-

цузы во время Крымской войны, а позже, в 1919—1929 годах, американцы и прочий вооружённый сброд, составивший войска Антанты, абсолютно свободно гуляют по российским берегам. Чтобы создать мощную военную группировку на Севере, оказался жизненно необходимым внутренний судоходный путь.

Но... Рабочих рук сколько угодно — их собирали по обнищавшим и голодным деревням центрально-чернозёмных областей, по городским тюрьмам и домам заключения, вокзалам и пристаням. Однако нужны были не просто рабочие руки, но знания и опыт. Требовались специалисты-гидротехники, конструкторы и проектировщики. Их отыскивали и, не троя времени на уговоры переехать в дикие необжитые места, арестовывали, засаживали за чертежи, а потом отправляли в Карелию воплощать в реальные гидротехнические сооружения.

Вслед за коллегами дошла очередь и до Тобольцевой. На Лубянке неожиданно выяснили, что, «ведая штатными вопросами и вопросами кредита», она вошла в состав «руководящего Центра контрреволюционной вредительской организации» и «содействовала проведению мероприятий, направленных на разрушение водного транспорта и подрыв экономической мощи СССР». Таких «центров» и «вредительских организаций» в ОГПУ с лёгкостью придумывали где угодно — от генеральских штабов до машинно-тракторных станций в деревнях. Думаю, сама 40-летняя Наталья Евгеньевна, по-женски чуравшаяся всякой политики, очень удивилась приписываемой ей роли вожака-заговорщика при столь высокой цели.

Так она оказалась в Карелии...

Никитин принимает моё пальто в прихожей, а я вижу, глаза у него красные и сам он выглядит неважно. Видно, только оторвался от компьютера.

— Хорошо поработал сегодня, — говорит, устало улыбаясь. — Вы меня вдохновили вчерашними разговорами. Иногда, знаете, полезно вот так выговориться. А с кем мне тут...

Вот тебе и Москва, думаю про себя. Мы в Карелии и то подчас активнее общаемся. Никитин приглашает к столу. В кухоньке большой старинный буфет, — вывез из прежнего дома в Подмосковье и как-то ухитрился внедрить в городскую

квартиру. Буфет старинной работы, барский, со множеством больших и малых ящичков и полок, занимает полкухни. В прошлый приезд Никитин рассказал занимательную историю буфета, кочующего вначале с родительской семьёй, а теперь собственной, но я мало что запомнил. И тогда и сейчас голова забита вовсе не буфетными историями. Сегодня поговорим о моей находке и об атмосфере 30-х годов.

— А чему тут удивляться, уважаемый Тихон Дмитриевич? — говорит Никитин, из маленького графинчика разливая «Московскую» по стопочкам. — Виновата — не виновата. Никому это было неинтересно. Её брали для дела. А вот моих родителей взяли на всякий случай. Боялись. Мало ли что...

— Как это понимать, Андрей Леонидович?

— Так и понимайте: боялись. Поэтому брали поэтов, журналистов и писателей. Влияния их боялись, популярности. А мои родители были членами мистического общества в Москве. Таких было несколько, и всех вырубали под корень.

— Мистика всегда трансгранична, всегда прикованна для непосвященных. Что скрывается за их обрядами и собраниями, может, подготовка восстания. Как тут не проявлять бдительность.

— Это так. Однако, если говорить коротко и грубо, цель обществ состояла в изучении древних знаний, совершенствовании духа и формировании личности на новых, высших началах. В их увлечениях было много наивности.

— И за это нужно отправлять в лагеря?

— Ну что вы, упаси бог!

Никитин достаёт с полки толстенную папку с материалами, выуживает копию документа и читает: «...Ставились задачи противодействия и вредительства соввласти на колхозном фронте, среди совучреждений и предприятий. Пропагандировался мистический анархизм с кафедры и по кружкам, в которых вырабатывались массовые руководители, главным образом из среды интеллигенции. С целью внедрения в советские артистические кружки своей идеологии в противовес линии марксизма...»

— Несмотря на стиль, — добавляет Никитин, убирая папку на полку, метра на полтора забитую такими же толстенными папками, — только одна эта фраза в обвинительном заключении

по делу — «в противовес линии марксизма» — обещает 58-ю статью с 3-5 годами заключения как минимум.

Знаю, отец Никитина служил театральным художником, оформлял спектакли в ведущих театрах Москвы. В моём представлении никак не укладывается его участие в противодействии власти на колхозном фронте. Мама ни к колхозникам, ни к трудящимся совучреждений не имела касательства вовсе. Однако же...

— Они ведь и на Беломорстрое работали не в котловане: отец служил в лагерном театре, мама поначалу была медичкой на лесоповале, потом отец перевёл её в театр. Отец по натуре перфекционист, уничтожал свои работы беспощадно. Есть такие художники и писатели; в стремлении сделать всё лучше и лучше они, что называется, записывают работы до полного уничтожения. Очень жаль, что мало осталось отцовских работ, а периода Беломорканала и вовсе нет.

— Вы говорите о писателях на строительстве. Встречали ли какие-нибудь материалы в своих разысканиях?

— Встречал, и достаточно. К слову, вам следует обратить внимание на писательские личные фонды. В них встречаются наброски о лагерной жизни, записи интересных судеб, письма, имена. Не исключено, встретите упоминания о тех, кого ищите.

2011 год, июль. Москва. История мамы

Поздно вечером, наговорившись, Никитин укладывает меня на родительскую кровать с никелированными шишечками. Сам он здесь не спит. В обычное время кровать бывает застелена пледом и завалена рядами папок, вырезок и прочим важным для дела материалом. Его домашний архив — это рабочий архив, а не просто склад, который мне не раз приходилось видеть у других исследователей. Днём я спросил его о прорехах, вдруг образовавшихся на книжных стеллажах. Он ответил так: годы идут, сил всё меньше, и теперь отработанный материал он не хранит. Всё ценное сдаёт в архив, где у него личный фонд, а редкие книги продаёт букинистам.

Никитин грустно помолчал и добавил, видимо, чтоб я не подумал о нём плохого:

— Очень жаль от мысли, что к этим темам, — он

показал на полку с вышедшими в последние годы его книгами, — больше не придётся возвращаться, и до боли жалко расставаться с редкими книгами. Но никуда не денешься: за публикации нынче не платят, а пенсия смешная. На что-то нужно ездить, да и просто жить.

На стенах спальни сохранившиеся портреты отца. Их совсем немного: пейзажи, портрет жены, сам Никитин, ещё совсем юный. В Москве в июле ночи почти прозрачные. Свет автомобильных фар иногда пробегает по портретам, и это даёт неожиданный эффект: кажется, лица на них меняют очертания, на миг оживают...

После долгих разговоров спать совсем не хочется. И я вспомнил маму. Когда в журнале вышел очерк об отце, читатели на встречах стали спрашивать, почему родители ничего не рассказывали о пережитом, почему никогда не делились воспоминаниями о своих мытарствах по трудпосёлкам, лесопунктам и детдомам? Почему, наконец, ничего не рассказывали детям о дедах, своих родителях?

Мне самому хотелось бы узнать, почему, только вот спросить теперь не у кого. И я стал отвечать так: наверное, не хотели портить нам счастливую комсомольскую юность. Теперь думаю, в этом только часть правды. Другая состоит в том, что они полагали, будто их рассказы могли вызвать неудобные вопросы к власти. Они не желали этого нам. Они хорошо знали, каким образом власть могла на эти вопросы ответить.

Тем не менее после очерка об отце я стал собирать материалы о матери, Александре Дмитриевне. Очень внимательно изучил случайно сохранившиеся бумажки в домашнем архиве, писал в архивы, собирал факты и свидетельства во всех самых немыслимых источниках. Это ведь просто кропотливая работа по составлению мозаики: узнаёшь некий факт, он тянет за собой факт другой, и глядишь, за третьим фактом вытягивается неведомое прежде событие. И всё вместе это когда-то составит целую картину. Нужно только терпение.

Мама приехала на Канал в 33-м из Сыктывкара. А что она делала там? Как туда попала? И помаленьку у меня составилась очередная грустная история с раскулачиванием, высылкой, эшелонам из товарных вагонов, трудпосёлком и лесоповалом. То есть та же история, что и у отца.

Только пункты отправки и назначения были разными: отца увезли из нынешней Липецкой области в Карелию, маму из Сталинградской, а ныне Волгоградской области в Коми.

Я узнал, что мама происходила из старинного рода казаков, поколениями живущих на берегах Бузулука близ станицы Филоновской. И это начало для меня важное: я тоже донской казак, природный, как теперь говорят, и никто другой. Однажды уговорил сына, и мы поехали на родину матери, к Бузулуку. Я не ожидал узнать здесь что-то новое о давних и страшных годах. Столько времени прошло, почти век! Другие люди вокруг. Хотелось посмотреть на степи, подышать воздухом уничтоженной казацкой вольницы.

В городе Новоаннинском познакомился с Галиной Фёдоровной Широковой. В прошлом школьный учитель, она увлеклась историей, краеведением, и теперь едва ли найдёшь человека, который лучше знает, что и как происходило в районе во время Гражданской войны и коллективизации. Каждому из этих периодов она отдала годы работы в архивах, у неё за спиной десятки встреч с непосредственными участниками и свидетелями, которых ей удалось застать. Каждому из этих общественных потрясений она посвятила по отдельной книге.

— Да, встречается в истории района эта фамилия. Как же, помню, — говорит Галина Фёдоровна. — Дядя у «белых» служил? А чему тут удивляться, если почти все мужчины на территории современного Новоаннинского района воевали за «белых». Это же казаки были...

— Трудно сказать теперь, что оказалось страшнее для людей, — говорит Галина Фёдоровна. — Гражданская война или коллективизация и раскулачивание. И то, и другое вылилось в тысячи напрасных жертв и страшное, ничем не оправданное разорение народного хозяйства. Иногда думаешь, что мы до сих пор переживаем последствия тех трагических событий...

Итак, вот что я узнал о событиях 20-30-х годов в краю моей мамы.

К декабрю 1922 года, когда ей едва исполнилось восемь месяцев от роду, братоубийственная война в окрестностях родного хутора Рожновского, что неподалёку от станицы Филоновской, почти завершилась. Основные регулярные части донских казаков ушли в Турцию и Болгарию,

обустроивались там, испытывая громадные трудности. Оставшиеся разрозненные казачьи отряды большевистские власти называли партизанскими отрядами, а потом и просто бандами. С противоположной стороны, в отрядах красноармейцев, милиции, самообороны и прочих нерегулярных частях, которые ничем не отличались от «банд», сражались братья, хуторские и станичные соседи. Вооружённая борьба здесь, на берегах древнего Бузулука, приобрела не классовое, но личностное противостояние. На этом всегда стоят войны, которые принято называть гражданскими. Именно поэтому они приобретают особенно жестокий и кровавый характер.

«Богу и судьбе было угодно так, чтобы жизнь наша была достигнута великою русской смуту, имя которой «революция», «Гражданская война» и «коммунизм», — писал русский философ Иван Ильин. — Не мы хотели революции; не мы начали Гражданскую войну; не мы губили Россию коммунизмом».

И добавлял:

«Белое движение спасло честь России: если бы его не было, то можно было бы стыдиться называть себя русским...»

К началу массовой коллективизации 1 октября 1928 года маме исполнилось шесть с половиной лет. Дети в таком возрасте уже не помогали старшим в доме и на базу во дворе, а вовсю работали каждый на своём месте. Казачий край к этому трагическому времени подошел без дворянства, духовенства, купечества и офицерства, веками почётного в этих местах. Само слово «казак» оказалось под запретом. В родных хуторах и станицах царило страшное разорение и тотальный голод. Не только сеять было нечем, но и детей кормить.

Первая волна раскулачивания прокатилась по Новоаннинскому району в первой половине 1929 года. Вторая волна обрушилась в ноябре того же 1929 года. Итоги летней работы на полях привели власти в уныние и даже панику: хлеба в лучшем случае хватит до нового года, колхозный скот обречён на голодную зимовку, весной сеять будет нечем, семян нет, и колхозникам за работу дать тоже нечего...

Третья волна репрессий, роковая для мамы и её семьи, началась в канун весеннего сева 1930 года. Выяснилось очевидное: большая часть

колхозников работать не может, да и не желает. Отобранной у кулаков техникой и даже той малостью семенного материала, что оказался в закромах, распорядиться по-хозяйски не могут. Техника ломается и простаивает, семена бросают в «ледяную, промёрзшую грязь...». Власть один за другим принимает отчаянные постановления — «О вредительстве при проведении сверххранного сева...», «О привлечении коров к весенне-полевому работам...». Но ни коровы, ни постановления не помогли. В Новоаннинском районе начался страшный голод. Хуторяне вспоминали: «Собирали перекасти-поле, толкли сухую траву и делали из неё лепёшки. Весной ловили сусликов, ставили силки на воробьёв и другую птицу — всё съедали...»

Голодные смерти, тотальное бегство из села, страх, вражда, повальное доноительство стали при большевистской власти обычным делом для населения некогда вольного, богатого, цветущего края. На хуторах и в эшелонах то и дело вспыхивали неорганизованные бунты и восстания. В октябре 1933 года в станице Ново-Аннинской появились листовки-воззвания:

«Товарищи, объединяйтесь! Россия гибнет! Сталин истребляет народ! Товарищи! Что же вы спите?! Ведь вас обманывают! Гибель растёт всё больше и больше. Нужно прекратить её! Нужно бороться, и бороться организованно! У нас нет хлеба! Требуйте! Мы гибнем, голодаем, умираем от голода и все молчим!»

«Товарищи! Мы — тайный комитет, призываем вас на борьбу против сталинских порядков, против насилия и лжи! Россия гибнет! Сталин истребляет народ!»

В результате спецоперации под кодовым наименованием «Ржавчина» чекисты выявили участников «тайного комитета». Их оказалось четверо и все... ученицы местной школы второй ступени, девочки-подростки в возрасте 15-16 лет: С. В. Печерская, П.М. Фролова, Мантрова и Рублевская.

Мама с отцом, моим дедом, Дмитрием Ивановичем, и двумя сёстрами оказалась в третьей волне раскулачивания. К тому времени ей исполнилось восемь лет. Дорога на Север для них была утрамбована многими тысячами ног: из эшелона в трудпосёлок, потом в детский дом...

Прошло десять лет. Многочисленные детдома

северной республики отнюдь не опустели. Их пополняли дети высланных немцев Поволжья, бывших заключённых, которым запретили выезд из Коми, и множества иных «врагов». Остро не хватало учителей. Но вот дальше случилось почти чудо. Как лучшую ученицу маму из детдома направили в учительский институт в Сыктывкар. А в Сыктывкаре она познакомилась с молодым командированным инженером Юрием Поляковым. Полякова ждали в местном совнархозе, на него, как на классного специалиста, надеялись в каком-то очень важном для республики деле. Поэтому и его просьбу — отпустить с ним кулацкую дочь, сняв её с учёта, выполнили без затруднений. Так мама стала свободной. Разумеется, в рамках, определённых властью для граждан страны в начале 30-х годов.

2011 год, июль. Москва, Агеев

Сегодня мой последний день работы в архиве. Принёс в отдел комплектования торг, пьём чай, и я рассказываю женщинам, что удалось найти за эти дни, а также о предложении Никитина о писательских личных фондах. Они согласны кивают: да, да, там много интересного. Шкловский, Алымов, Буданцев, Никулин... Имена. Да, бывали на строительстве Канала не по одному разу, много писали. Только работай.

Однако за день нашёл не так уж и много. Перебираю разнокалиберные листы, вычитываю наброски и планы и думаю: сколько было творческих мечтаний, замыслов и идей! И где всё это? Некоторые из литераторов, во время строительства Канала вышагивающие по краю котлована в кожаных пальто и шляпах и с некоторым превосходством глядящие на тощих бурильщиков и тачечников внизу, скоро сами оказались на Воркуте, в Коми или Магадане, сгинули на пересылках и этапах. И редкие составили себе литературные имена.

У меня режет в глазах. Устал. Хочется оставить этот бесконечный поиск и хотя бы на время выбраться из того мира, наполненного ощущением непреходящей беды и чужой злой энергии. Работа подходит к завершению. Я рад этому, хотя и понимаю, что ожидаемого результата пока не достиг.

В «деле», что лежит теперь передо мной, ос-

талась последняя папочка. Сам же фонд достаточно объёмен. Он содержит материалы громкого в 20-30-е годы поэта. Несчастье его состояло в том, что после октябрьского переворота он подался из Владивостока в Японию и Китай, жил там, зарабатывал то на стройке, то мытьём посуды в ресторанах. А когда успокоилась в Отечестве Гражданская война, вернулся и сразу подался в Москву, в столичные литературные салоны, с тонюсенькой брошюрой стихов. Брошюрка и чтение стихов нарастают о японской сакуре и китайских древностях должны были свидетельствовать о его безусловном мировом поэтическом звучании.

Справедливости ради следует отметить, что поэта скоро признали и по достоинству оценили. Правда, только на Лубянке. И в статусе шпиона сразу двух иностранных разведок отправили в Карелию строить Беломорско-Балтийский водный путь.

Нет, он не пропал здесь, как, поначалу беззастыжким, не пропал в Японии и Китае. Очень скоро поэт нашёл своё место в общем строю трудящихся молодой советской республики. Поэта привели в культурно-воспитательном отделе управления Беломорстроя. Он освоился, надел кожаное пальто, фуражку со звездой и хромовые сапоги. В фонде есть фото — ну вылитый чекист. Читаю из вороха его черновиков писанное модной в те времена лесенкой:

*Мы пришли
в этот край, где лоси
с медведями делили лес.
В глушь болот,
в заповедник сосен,
нищим сказкам наперерез.
Мы пришли
и, разрыв берлоги,
раздробив диабаз и гнейс,
проложили
пути-дороги
в чудеса большевистских дней.*

Не станем придирается к поэту: пришли или привезли по этапу цепляться за чудеса большевистских дней. Главное, что он занялся полезным для строительства и перевоспитания преступного элемента делом. Последняя папочка со-

держит творческие мечты поэта, наброски, планы, записи для памяти для нового романа. Здесь же варианты названия: «Кто — кого», «Отбросы», «Мелодия», «Stella Polaries». Судя по подчёркиваниям, остановился на последнем. План:

Часть 1. Арест. Тюрьма.

Потрясение. Надежды. Нелепость положения. Каждый день ждём — с вещами на выход!

Часть 2. Приговор. Этап.

Часть 3. Беломорье.

Попов остров. Изолятор. Москва недостижима. Даже не полюбил жизни — жить мука. 10 лет! 101 мука... Письма.

Часть 4. Кемь. Свидание.

Судя по всему, поэт к роману так и не приступил, хотя кое-какие заметки оставил. Беру наугад одну из них. Запись карандашом, неровный торопливый почерк. Подчёркнутая трижды пометка сверху: «Использовать в романе. История, достойная Шекспира!» Пробегаю глазами, и сердце обрывается, замирает...

«Отдалённая командировка, тысяча з/к, з/к. Строительство водохранилища на южном участке трассы. Руководитель женщина-инженер Наталья Тобольцева. Она сообщает руководству о сложной обстановке на земляной дамбе, опасности прорыва во время весеннего паводка. В помощь направляют опытного инженера Юрия Полякова. Дороги затоплены, перерезаны ручьями, даже подвода не пройдёт. Поляков пешком пробирается на объект за 20 км. Вместе они ищут способы временно укрепить дамбу. Угроза немедленного прорыва миновала.

За Тобольцевой давно ухаживает отделенческий уполномоченный НКВД, которого за глаза называют «козырной валет» или просто «козырной». Уполномоченный дарит Тобольцевой подарки, уговаривает, угрожает. Тобольцева его не принимает. «Козырной» злится, ругается, а выпьет, обещает Тобольцеву и всех, кто к ней подойдёт, «подвести под вышку». Подошёл Поляков. «Козырной» узнал. И когда плотину неожиданно прорвало, арестовал Тобольцеву и Полякова. Инженеры считают, что авария дело рук самого уполномоченного. Но говорить боятся...»

Я поражён — вот так находка! Удивительно и другое. Из маминых писем я хорошо помнил, что первым мужем у неё был инженер-гидротехник. Его звали Юрий Петрович Поляков...

Женщины в отделе комплектования фондов рады находке больше меня. Однако их опыт подсказывает: надо уточнить, мало ли Поляковых на строительстве. «Тут такие переплетения судеб, что порой голова кругом». И тут же предупреждают: заметка к роману — не документ. Спрашиваю, не встречали ли в других фондах упоминаний об этой истории. Судя по всему, она стала известна на строительстве. И другие писатели могли слышать о ней.

— Это надо бы у Максима Фёдоровича спросить, — говорит Нина Петровна.

— А он кто?

— Агеев. Он формировал писательские фонды и сам десятки лет с ними работал, пока...

— Пока что?

— Это пусть сам расскажет.

Нина Петровна проводит меня к Агееву. Идём длинным коридором, спускаемся куда-то вниз, куда простым смертным допуска нет. Неярко горят под потолком лампы, серые стены, двери вправо и влево и, наконец, небольшая комната-мастерская. Запах клея, старой бумаги и ещё чего-то неуловимого, но приятного. Такой запах неповторим, он бывает только в хранилищах библиотек и архивов. Очень пожилой мужчина, борода клинышком, как на старых фото «всесоюзного старосты» Калинина, поднимается с кресла и радостно нас приветствует:

— Ниночка, радость моя! Ко мне, старику?! Какими судьбами?

— Вот, Максим Фёдорович, исследователя привела. Из Карелии, писатель, Тобольцевой интересуется. Помните историю с Хижозером? Вы как-то давно сетовали, что такой хороший материал, а никто за него не берётся. Так вот. «Вы оставайтесь, — говорит она мне, — а я, пожалуй, пойду».

Агеев смотрит оценивающим взглядом. Глаза у него немного слезятся под круглыми очками, синий халат в белых пятнах висит на узких плечах как на вешалке. Он сдвигает с края стола, где стул, серые папки и предлагает устраиваться.

— Так зачем вам Тобольцева, молодой человек?

— Не такой уж и молодой, Максим Фёдорович, коли далеко за шестьдесят.

— В сравнении со мной — молодой. А нынешнего директора, к примеру, так я старше почти в три раза.

Рассказываю о своей работе над книгой, всё, что знаю, и отдельно о сегодняшней находке в фонде поэта. Агеев слушает молча, полузакрыв глаза и слегка раскачиваясь в таком же древнем обшарпанном кресле, судя по всему, за ненадобностью списанном после войны из какого-нибудь театра.

— Да-а-а, помню этот фонд, — вспоминает Агеев. — С ним у меня была удача! Самого не застал. Материалы передала первая жена поэта, все и сразу. А ведь, бывало, так намаешься, столько разговоров-уговоров и даже истерик. Вы, молодой человек, знаете, что такое писательские жёны? Первые, вторые, последние, то есть вдовы?

— Знаю только одну. Но она пока не вдова.

— Несказанно повезло, доложу я вам. То есть, я хотел сказать, хорошо, что не знаете других. Вы-то успели подумать, что старик совсем из ума выжил.

— Полноте, уважаемый Максим Фёдорович. Я просто жду, когда расскажете об истории на Хижозере. В отделе комплектования помнят, что вы ею специально интересовались.

— Знаете, молодой человек, нас сейчас охрана прогонит. Конец рабочего дня. Приходите с утра. Я захвачу из дома кое-какие документы.

— Увы, не смогу. Командировка закончилась, и сегодня к ночи уезжаю домой.

— Уж и не знаю, как с вами быть...

— Пять дней проработал почти вхолостую, а нашёл только сейчас к вечеру. Какая досада.

— Очень вас понимаю, — Агеев помолчал, собрал со стола папки в металлический ящик у стены и переоделся из халата в серую куртку с обвисшими карманами, словно в них лежали по полкирпича. — Хорошо. Проводите меня до дома, это недалеко. По дороге поговорим.

Неширокая улица поднимается с наклоном вверх. Редкое для большого города безлюдье. Издалека слышны лязг троллейбусных «усов» на стыках, шум большого проспекта. Там станция метро, словно ненасытное горло, втягивающее в подземное чрево бесконечную людскую череду. Слева начинается ряд однотипных невысоких серых домов, видно, сталинской ещё постройки.

— Скоро будем дома, — говорит Агеев. — Когда я перешёл сюда работать, а это — не смейтесь, молодой человек, — далеко за сорок лет тому назад, сдал квартиру в центре и переселился сюда.

Скажу вам, это было очень непросто. Помог товарищ. Сейчас его уже нет, а тогда был большим начальником в Моссовете. Правда, переезд очень не нравился моей жене.

— А что, тихо тут, покойно. А в центре просто ужас!

— Жена знала, что редко будет меня видеть. Тут ведь не нужно начало и окончание рабочего дня прилаживать к городскому транспорту. Но ничего, побунтовала немножко и успокоилась, отступилась.

— Женщины в отделе намекали, что у вас были большие проблемы с начальством.

— Были, да. К слову, как раз из-за Тобольцевой. Я поделился историей с моим приятелем. Он писатель, и вы его читали. Его все читали — известнейший человек! Он говорил, напиши да напиши. Это же настоящая драма! Я, мол, помогу напечатать где хочешь. Увлёк меня, зажёг. И я стал брать дела из фонда домой, работать с ними ночами — в отделе-то головы поднять некогда.

— Что получилось?

— Скандал. Кто-то доложил. А директора к нам прислали на укрепление из ведомства, в котором хоть и ходят в цивильном платье, но общаться принято только таким образом: «Разрешите войти!», «Так точно!», «Никак нет!» Для нашей среды неподходящая форма общения. Женщины собрались и не дали меня уволить. С тех пор сижу в мастерской. И мне нравится.

— И ваш приятель смирился?

— Он давно умер. Жалко, многое мог сделать, но — увы: злоупотреблял. Вы не злоупотребляете? Писатели в этом смысле... Да.

— Грешен, Максим Фёдорович. Употребляю, но не зло.

Признаться, я ожидал, что засядем за чай и весь вечер проговорим о Тобольцевой и её судьбе, но ожидания мои не сбылись. Едва скинув куртку, Агеев поднялся на антресоль, вынул нетолстую старую папку и пару раз хлопнул ею о колено, сбивая пыль. Мне раздеться не предложил.

— Очень давно не брал в руки, — сообщил извиняющимся тоном. — Здесь всё, что удалось собрать о ней и об аварии на дамбе.

— А о Полякове есть что-нибудь?

— Немного, самые общие данные. Запрашивал, но информации мало. Тут есть один пикант-

ный момент, молодой человек, — голос Агеева стал строг. — Вы его должны учитывать. И Поляков, и Тобольцева до ареста были несвободны. У неё муж, тоже заключённый, работал в управлении Беломорстроя, а у него на воле оставалась жена. Правда, детей не было ни у неё, ни у него.

— Знаю, Максим Фёдорович. Мало того, знаю почти всё о жене Юрия Петровича.

— Откуда?! Я, старая архивная мышь, ничего, кроме имени, о ней так и не узнал.

— Это моя мама...

Агеев уронил папку на пол. Папка грохнула так, будто с размаху ударили доской по столу. Опираясь о стену, Агеев прошёл в комнату и медленно, будто больной, опустился в кресло. Я прошёл на кухню, налил воды. Агеев сделал пару глотков и отвёл мою руку, успокоился.

— Что ж вы мне сразу-то... Это же важно!

— Извините, Максим Фёдорович, наверное, вы правы. Мне следовало сразу заявить, что в деле есть и личный мотив. Прошу прощения — недодумал.

— Что вы, что вы, Тихон Дмитриевич. Понимаю. Что вас ещё в этой истории интересует?

Я рассказал о давнишней просьбе мамы. Удалось ли обнаружить документы о судьбе уполномоченного НКВД южного участка строительства, «козырного валета»? Агеев сказал, что о нём ничего неизвестно. Все архивы в другом ведомстве, куда ему хода нет. Да он и не старался их разыскать. Уполномоченный представлялся ему обобщённым образом зла, который они все олицетворяли в то время. В таком случае, по его мнению, имя конкретного человека неважно.

Агеев очень устал, и я понял, что ему нужно отдохнуть.

— Пожалуй, я пойду, Максим Фёдорович. Вам нужно прилечь. Извините, что заставил волноваться.

— Возьмите с собой папку, Тихон Дмитриевич. Мне она без надобности. И коль скоро разговор у нас складывается уже не о литературе, прошу подождать пять минут. Я сделаю звонок.

Он встал с кресла и набрал номер телефона. На звонок долго не отвечали. Потом старческий голос прокашлялся и произнёс «алло».

— Паша, это ты? Живой? — весёлым голосом спросил Агеев. И так же весело продолжил: — А мне-то что сделается? Работаю ещё, да, девушки

тортом угощают. Мы с тобой потом о здоровье поговорим, а теперь я по делу. Помнишь, мы очень давно говорили о Беломорстрое и этой романтической истории с женщиной? Да, 33-й год, да подвели под «вышку», да, да... Большая, просто огромная к тебе просьба: собери всё, что сможешь, про уполномоченного НКВД южного участка. Нет ни имени, ни фамилии, только кличка «козырной валет», что ли. Кто он, что он, куда делься — всё, всё. Ну и что не при делах, на пенсии. Ученики-то да бывшие подчинённые остались? Поручи, попроси. Паша, очень надо, и не для статейки и праздного интереса. Что? Потом расскажу. Очень на тебя рассчитываю, Паша.

— Мой старый приятель, — кивнул Агеев на телефонный аппарат. — Вместе начинали — я у себя, он по своему ведомству, где числились все эти уполномоченные. Поможет. Езжайте с Богом, Тихон Дмитриевич. Всё, что найдут, я вам вышлю.

2011 год, август. Город

Из партийного штаба позвонила девушка и мангельским голоском пригласила назавтра к самому главному у них секретарю. Галстук повязывать не стал, но оделся аккуратно. У главного секретаря просторный кабинет, большой стол и кожаные кресла на колёсиках. В нашей деревенской школе спортзал был поменьше. На стенах портреты. Справа портрет президента — жёсткий взгляд в упор, лёгкая то ли улыбка, то ли ухмылка на губах. Читается так: ну что ты, вошь, тут ползаешь? Чего тебе опять надо? Слева портрет главного в их партии. Здесь душа-мужик, неформально откинулся в кресле, смотрит весело. Этого можно прочитать и так: у нас, парень, по-простому, по-народному, типа присоединяйся.

Местный главный секретарь выглядит озабоченно и немного нервозно. На краю стола моя папочка с рукописью сборника. Видимо, в ней и заключается причина нервозности. Секретарь длинно говорит, как много вскрывается проблем, как много придётся ещё сделать для людей. Народу сейчас трудно. Будем помогать. Вот сейчас готовится сборник избранных статей лидера, над ним уже работают, народ ждёт; впереди подготовка к встречам в глубинке, издание листовок

и буклетов, и для этого нужно консолидировать все имеющиеся средства.

Что касается моего сборника, его прочли, поднятые проблемы понятны и, разумеется, требуют решения. Однако сейчас, в непростых обстоятельствах, когда всем трудно... В общем, издавать его в штабе считают преждевременным. «Мы думаем, в ближайшей перспективе, когда в результате совместных усилий откроются новые возможности, — бормотал секретарь. — И вот тогда...»

Я понял, что зря теряю время, взял со стола папку и вышел. В дверях чуть не сбил с ног ангелоподобную секретаршу с подносиком, на котором чашечки с кофе и печенье на блюдечке. И чашечки и блюдце выглядели будто из царского сервиза, которым я когда-то давно любовался в Павловском дворце под тогда ещё Ленинградом. Давно живу...

Николая ни в штабе, ни на встрече не было. На телефон он не отвечал.

Признаться, разочарования я не испытал. Теперь очерки меня интересовали мало. Я буквально утонул в жизни лагеря на Хижозере. Тобольцева и Поляков — вот о ком думал я днём и ночью.

После посещения партийного штаба и проникновенного рассказа главного о том, как трудно сейчас живётся народу (с чего бы это?), прошло дня два-три. И снова звонок с незнакомого номера. Некий молодой человек спросил, могу ли я уделить пять-десять минут для важного разговора. Со мной хочет связаться руководитель компании. Название компании состояло из трёх английских слов, из которых я понял только одно — fish, то есть рыба. Руководитель сказал, что читал мои книги, а также цикл очерков о проблемах рыбного промысла в журнале. Публикации ему понравились. Особенно важной, по его мнению, является поднятая мной проблема своевременного обновления рыбопромыслового флота.

«Мы отстаём в этом вопросе от наших северных соседей Норвегии и Швеции, — подчеркнул руководитель. — Но кое-что нам удаётся сделать».

И с ходу предложил мне войти в состав небольшой делегации, которая на днях выезжает в Норвегию для участия в церемонии подъёма государственного флага на вновь построенном для его фирмы траулере.

Я прикинул, во что эта поездка может обойтись, и хотел было аккуратно отказаться, мол, занят другой темой. Да и жаль снова отрываться от судеб моих героев с Беломорстроя. Но руководитель предупредил мои затруднения. «Все расходы, включая дорожные и прочие, компания берёт на себя. Кроме того, публикации после поездки также не останутся без достойного гонорара».

Выезжать в Мурманск следовало уже послезавтра.

Почему бы и нет, легко уговорил я самого себя. Следующий курс химии только через неделю, в Норвегии бывал проездом, теперь посмотрю поближе. К тому же попробую понять изнутри, чем живут современные бизнесмены, каков на вкус их обильный хлеб.

2011 год, конец лета. Мурманск — Тромсё (Норвегия)

Водитель микроавтобуса, он же заместитель директора турагентства Александр ведёт машину уверенно: дорога из Мурманска в Норвегию, с заездами в сопредельную Финляндию знакома ему как собственный двор. Поэтому он не прочь и поговорить. Сказал сразу, что тамошних жителей не уважает. «Русские для них в обиходе делятся на две группы: если мужчина — криминал, если женщина — проститутка».

Видится мне в этом какая-то застарелая обида на соседей. Так в дальнейшем разговоре и оказалось. Дочь Александра, девятиклассница мурманской школы, четыре года прожила в Норвегии на побережье, свободно говорит на английском и норвежском и хочет связать свою жизнь с Норвегией. Думаю, за эти четыре года дочкин папа и натерпелся от норвежских обывателей.

Любопытным показалось пересечение границы между двумя государствами Финляндией и Норвегией. Она предстала перед нами так: пустынная дорога, небольшая будка на обочине, пожилой и весь какой-то помятый то ли пограничник, то ли таможенник. Лишние бутылки мы, разумеется, прежде попрятали под сиденья и встречаем вопрос стража: «Шагрэн висса?» бодрым «Иес!» И тут же добавляем: «Алкоголь — норма!» Страж устало машет рукой — проезжайте! И уходит в будку досыпать. А мы въезжаем в сопредельное государство.

Капитан новенького траулера в порту города Тромсё Андрей Салмин, как давнему знакомому, крепко жмёт мою руку. Ему по телефону сообщили, что едет известный, по крайней мере на Севере, писатель. А капитан, оказывается, сам много читает и знаком с моими публикациями и рыбацких делах.

Поскольку для Салмина всё человечество делится на наших и не наших, я оказываюсь в группе счастливых, близких капитанскому духу, то есть свой. Не обращая внимания на московское и мурманское начальство, Салмин водит одного меня по судну и рассказывает, какой это замечательный и суперсовременный корабль. Я мог бы несколько страниц посвятить рассказу о достоинствах судна, но, перебивав за свою жизнь на десятках траулеров, начиная ещё с клайпедских, послевоенной постройки, ограничусь лишь замечаниями Салмина о разности подходов к делу моряков русских и иностранных.

Следует сказать тут, что из неполных (не хватает лишь нескольких недель) 50 лет жизни Салмин ходит в море на промысел 27 лет и за эти годы перевидал всякого и всяких. Опускаемся в помещение механиков. Обилие инструмента, которого не встретишь на материке в самой продвинутой автомастерской. Спрашиваю, что могут механики в море на промысле. Салмин отвечает коротко: всё! А иностранцы? «Иностранцы в сравнении с нашими механиками просто дети, — считает Салмин. — Их парализует любая нештатная ситуация на судне, они немедленно впадают в панику. Наши же пойдут и молча делают всё, что нужно».

Вообще, отношение Салмина к иностранцам по большей части насмешливое. Скажем, последний случай. Пригласили на верфь в Голландию, где строился траулер, чтоб «присмотрелся», как написали в приглашении, и поучаствовал в перегоне судна сюда, в Тромсё, в качестве наблюдателя. Капитаны, судостроители, флотское начальство на борту. А как отошли от стенки, выяснилось, что только у Салмина, единственного из всей многочисленной группы норвежских и голландских специалистов, есть диплом судоводителя соответствующего класса. И снова все в панике: что же делать, как же теперь быть? Ведь для Салмина это совершенно новый

район плавания, он не был там никогда и абсолютно не знает обстановки.

«Во, попал! — вспоминает он первую реакцию. — Да, немного вспотел поначалу. Но я русский капитан, в конце концов, или кто? Пошёл и дошёл. А в судно даже влюбиться успел».

Любимая оценка Салмина: хороший мужик, ему бы еще самурайского духа и тогда вообще цены бы не было. У самого Салмина самурайского духа через край.

В ходовой рубке траулера приборы полукругом, как на космическом корабле. Даже есть прибор, который следит за состоянием рулевого. Если рулевой долго пребывает без движения, прибор разбудит его звонком: «Аларм!» — тревога. Если и после этого рулевой не покажет шевеления, прибор «алармом» разбудит всю команду.

Салмин: «Говорю норгам, а на хрена мне эта бренчалка? У нас в рейсах рулевые не спят. Да и обмануть эту вашу штучку как нечего делать».

Они: «А как вы обманете, это же компьютер?»

«Просто. Повешу перед объективом жвачку на ниточке, пусть болтается. А сам спать лягу прямо в кресле».

Они недоумённо переглядываются, и сказать им нечего.

На судовой мостик заглядывает московский гость:

— Капитан, а где запасные двери от аварийного выхода?

Не оборачиваясь, Салмин отвечает:

— За борт выбросили, вместе с полным собранием сочинений Ленина...

Возникла долгая пауза.

— Да, — повторяет Салмин москвичу, — свалили тома кучкой и так с дверью выбросили.

Он очень не любит политику Москвы в отношении рыбаков. Просто ненавидит. Мне говорит, нагнувшись к самому уху: «Сажать надо этих. Продано и разворовано всё. Не дают работать, мешают как только могут. Нигде в мире нет такой оравы чиновников, сосущих деньги от моряка».

Жаль, забыл спросить, откуда на судне взялся Ленин. Вроде институт замполитов с их стенгазетами, парадными рапортами и приветственными письмами давно упразднён.

Прямо на палубе провели церемонию подъёма Государственного флага. Норвежские начальни-

ки от флота, фирмачи от голландских судостроителей и норвежского же банка, а также наши гости из Москвы и Мурманска (представитель губернатора, руководитель областного комитета по рыбе и даже начальник Мурманского рыбного порта) сказали речи.

Норвежские хозяева пригласили отметить событие в ресторан за счёт фирмы. Из команды приглашения удостоили капитана, старшего помощника и стармеха-«деда». На столах крошечные рюмки с чем-то мутноватым и большие низкие тарелки, в которые выложена порция из морской травы и соевый кусочек рыбы. И это всё! Думаю, моему внуку в детском саду на обед подадут больше.

Не успели рассестись, Салмин поспешил исправить оскорбительную ситуацию. Принёс из бара бутылку водки, по салату себе и коллегам и каких-то пирогов. Снова сказали речи: вначале хозяева, потом голландец и мурманчанин, посланник губернатора. И тут вышла незадача — от Карелии приветственное слово сказать некому. Церемония официальная, фирма карельская, и хоть офис расположен в Мурманском порту, налоги-то платит в Карелии. Мой бизнесмен толкает меня в бок: «Вы единственный из официальных лиц. Вам и говорить». Я отнекиваюсь, какой я официальный, да у меня и полномочий нет говорить от имени всей республики. «Не тяните. Неловко». Встаю, представляюсь вице-президентом Карельского отделения Союза писателей России и поднимаю свой скромный статус в заоблачные выси пышным приветствием не от карельского правительства, но от всех рыбопромышленников и граждан Карелии. Говорю о традиционной дружбе и взаимопомощи между промысловиками Норвегии и России, родившейся в средние века в суровых полярных водах и в рыбацких становищах Новой Земли и Шпицбергена. Вспоминаю пару подходящих случаев из истории.

Хозяева от истории бесконечно далеки, ловят каждое слово, глаза у них блестят. В завершение называю хозяев реальными продолжателями дела отцов и дедов.

Мою речь встречают бурными аплодисментами и приветливыми восклицаниями. Сажусь и с улыбкой говорю моему бизнесмену и хозяину судна: «А где же карельские министры, мать их?»

«Потом расскажу», — говорит бизнесмен, вполне удовлетворённый тем, как разрешилась неловкая ситуация.

Нетрудно представить, что скромными посылками в ресторане торжество никак завершиться не могло. Не такой мы народ. По прибытии на борт Салмин объявил всем приказ собраться у него в каюте через полчаса. Именно так: не пригласил, а приказал. На борту хозяин может быть только один. За пятнадцать минут до назначенного часа я зашёл в каюту бизнесмена и спросил, где же всё-таки наше правительство. Им что, всё равно — появилось ли в составе карельской рыбопромысловой экспедиции новое суперсовременное судно или нет? Иностранцы влили в нас многомиллионные инвестиции, а правительству до фени?

«Всё просто, — уныло ответил мой знакомец и хозяин новенького траулера. — Недавно они затеяли какой-то очередной, не нужный никому праздник по надуманному поводу и потребовали у меня миллион. Спрашиваю, для чего? Отвечают, оборудуем на выставочной площадке ряд палаток, хотим представить банные традиции края.

Я удивляюсь: палатка, три доски для полка и веник. И на это миллион?! Объясняю: вы же знаете, я вошёл в дорогостоящий проект, судно строю. Подгребаю всё до копейки. Ладно, отвечают хмуро, придёшь ещё. И пришёл, куда деться — правительство всё-таки. В норвежском банке попросили гарантийное письмо. Тот же человек в кабинете с портретом президента на стене и российским флагом на столе заявил: не будет тебе письма. И вообще больше не приходи. Им банные традиции оказались важнее...»

Поздно вечером, ближе к ночи гости разбрелись по каютам, и мы с Салминым остались поговорить не о новом траулере, промысле и производстве морепродуктов из добытой рыбы, о чём уже наговорились, а просто за жизнь. В общем разговоре возникла новая для меня тема воровства. Спрашиваю об этом Салмина.

— Недавно пригласили на консультацию в новую фирму в Мурманске, — рассказывает капитан. — Спрашивают, что сделать, чтобы на судне не воровали? Отвечаю: 2 тысячи долларов в месяц зарплата капитану плюс за вылов сколько получится. И он порвёт жопу любому за одну только мысль своровать. Если положите тысячу

зарплаты, он будет воровать сам и посадит вас с кораблём на такие деньги, что лучше не надо.

Касаемся другой старой и большой темы: муж-рыбак месяцами в море, жена-вольняшка на берегу. Салмин вспоминает совсем недавний случай с моряком из его команды:

— Вошли в норвежский порт под разгрузку, и он радостно звонит домой. Вместо жены отвечает грубый мужской голос: «Больше сюда не звони...» А моряк деньги для жены копил, любил её, каких-то драгоценностей за границей накопил...

Сам Салмин женщин хорошо знает, любит и великодушно прощает все их слабости. Поэтому своих любовниц периодически замуж выдаёт. Вот и недавно очередную выдал. Рассказывает, вдруг попросилась замуж. «Ты что, разве не знала, что я женат?» — «Да вот сыну отец нужен, трудно мне с ним одной, то да сё...» Ну, иди, говори, и подарок ей на свадьбу подарил. А она, оказывается, и замуж хотела, и чтоб я у неё остался...

Когда любит один, это не любовь, считает Салмин. Тем более, если любит мужчина. Нужно чтобы любили оба и в первую очередь всё-таки мужчину. Почему? Тогда он и на сторону не посмотрит, и в лепёшку разобьётся для своей женщины. Наверное, он прав. Только каково женщине, в особенности молодой, видеть мужа два-три месяца в году. Это же какую любовь нужно взлелеять в себе, чтобы согласиться на такое самопожертвование.

Бизнесмен пожалел мой возраст и купил билет на самолёт из Тромсё. Иначе пришлось бы затратить на обратную дорогу двое суток. В здании небольшого местного аэропорта пустынно. Только мужчина под сорок и женщина около тридцати сидят в ожидании рейса на разных скамейках и смотрят новости по телевизору на стене. Потом мужчина пересел к женщине. Они поболтали, обнялись и что-то весело обсуждали. Потом женщина пошла в туалет. Минут через пять за ней ушёл мужчина. Минут через двадцать в таком же порядке они вышли и снова сели обнявшись. Женщина раскраснелась и тяжело дышала на его плече.

Я подумал, супруги. У неё проблемы со стулом, — такое бывает у женщин, вступающих в зрелый возраст, и мужчина ей помог. Они сошли из самолёта возле какого-то маленького посёлка посреди заснеженных гор. Снег лежал и

искрился на солнце так, что больно смотреть. Самолёт ревел двигателем и разворачивался на месте для взлёта, — полоса здесь совсем небольшая. Белые вихри летели из-под крыльев и далеко позади свивались в тугие сверкающие петли. Я видел из иллюминатора, что женщина и мужчина пошли в разные стороны. Мне показалось, даже не попрощались.

2011 год, 17-й шлюз

На дворе конец лета. Стоит такая жара, что трудно дышать, спирает в груди. В городе жить становится невмоготу. Наверное, всё-таки химия меня достаёт. Раз в две недели закачивают в кровь по полтора литра — поневоле взвоешь! А папочка Агеева между тем томит душу, требует внимания, напоминает: пора, пора заняться хижозерской историей всерьёз. Но я тяну и тяну, откладываю и откладываю. Знаю, как только влезу, все остальные дела окажутся побоку. Вылезти удастся нескоро.

Тут позвонил Николай: давай махнём на 17-й шлюз, побродим, вспомним детство. У него образовались три дня свободных от партийного строительства. О моём разговоре с главным секретарём молчит, будто не знает. А я не напоминаю — проехали. Соглашаюсь составить компанию. Всё равно поработать не удастся, как ни уговаривай себя.

А на 17-м рай земной! Тихо, зелено, просторно, чистый свежий воздух! Недавно завершилась очередная, на моей памяти уже третья, реконструкция, и теперь стала особенно заметна давняя проблема страны вообще и Канала в частности: суперсовременное техническое оборудование гидросооружений, а за забором полуразрушенный посёлок для работников, с холодными туалетами и вёдрами воды за сотни метров. Как были у нас в Отечестве «первым делом самолёты», так и остались.

Молодой начальник шлюза Олег Васильевич, которого мы с Николаем помним ещё младенцем, показывает, как легко теперь управлять механизмами, демонстрирует центральный пульт с рядами кнопок, отличную связь.

Моим бы родителям такое...

В посёлке большинства домов постройки 33-го года уже нет. И не потому, что устарели, просто

жить в них некому. В штате шлюза не более десяти работников. И всё здесь нынче в прошлом: большой коллектив, десятки семей, красный уголок, где мужики вечерами играли в карты, стадо коров, лошадь, субботники, общая косьба сена, магазин, совместные праздники и коллективные фотографирования под развёрнутым знаменем. И не вернётся. Да и помнят о том времени теперь немногие.

За посёлком разнотравье и простор! Сено не косят — не для кого косить, никаких лошадей — ни Смелого, ни Игоря нынче не держат, и трава стоит по пояс. Однако по-прежнему всё здесь для меня родное. Эти поля, берега и лесочки и есть то первое, земное, что мы увидели, когда родились!

«Вот где пожить бы, — говорю Николаю, — вот где поработать!»

Николай — человек практический, отвечает, почему бы и нет? И сразу к Олегу:

— Олег Васильевич, прими писателя на лето. Он, видишь, ни машины, ни дачи своими книгами не нажил, а в городе работать не может, приболел. Есть у тебя куда принять?

— Да запросто, — отвечает Олег Васильевич. — Два дома пустуют, выбирайте любой.

Мы обошли оба дома и выбрали небольшую квартирку с хорошей печкой и даже с мебелью.

— Прошлой навигацией питерские практиканты жили. Вон в шкафу чистое бельё, чайник и электроплитка. Завтра возьму прицеп и дров привезу. Что понадобится ещё — я тут всегда рядом. К слову, Тихон Дмитриевич, и удочки у меня есть.

— Вот и чудненько! — Николай развёл руками. — Твори, выдумывай, пробуй, как писал один советский поэт. И рыбу лови — это я от себя. А ты, Олег, придёт время, ещё памятную доску у входа повесишь: «Здесь жил и работал известный писатель...» Тихон, когда приступишь?

— Сегодня соберусь, а завтра, если машина будет свободна, можешь привезти сюда.

И вот я снова на 17-м шлюзе! Разложил на столе бумаги из папки Агеева, но работать не могу, всё во мне ликует — не сосредоточиться. Брожу по берегам и окрестностям, вдыхаю чудесный воздух, угадываю места, где мы детьми любили играть. Вот тёмный и глубокий пруд под обрывом у дороги. Здесь мы срезали толстые полые дудки для стрельбы рябиновыми незрелыми яго-

дами. Вот громадная скала на берегу, возле которой любили ловить рыбу и сидели у костра. Вот озерцо, поросшее ряской и страшное, потому что однажды выловили со дна человеческий череп. Мы ещё не знали тогда, что живём рядом с местом, где в 30-е годы был лагерь для заключённых строителей Канала.

Милые, славные уголки земли! Для меня они останутся такими, несмотря ни на что. И о них, как о первых впечатлениях раннего детства, никогда не забыть...

2011 год, конец лета. 17-й шлюз

Как я благодарен Агееву! Какой же он кропотливый трудяга! В его папке я обнаружил множество материалов не только о Тобольцевой, но и о её семье, отце, сёстрах и братьях. Крепкая, основательная русская семья. На таких семьях многие века держалась матушка-Россия.

Долго думал, в какую литературную форму облечь мой рассказ, и остановился на документальной повести. Работаю с утра до ночи. Пишется на удивление легко. Давно так не писалось! Прожил здесь чуть больше трёх недель, а сколько успел! Мне остаётся до завершения всего ничего, последняя главка, страниц на десять. Эх, где же обещанная посылка из Москвы! Перечитываю текст, и всё мне нравится, переделывать нечего. Редчайший случай в моей литературной практике. Знаю, это ненадолго отвлечёт повествование в сторону, но мне очень хочется хотя бы коротко рассказать об этой семье.

Отец Тобольцевой, Колбасьев Евгений Викторович, родился в Одессе, в дворянской семье Таврической губернии, в 17 лет поступил в Морской корпус, который с успехом окончил, и вступил в службу мичманом в 1-м флотском экипаже. И после этого много учился, окончив курсы водолазного дела и учебно-стрелковой команды, ходил в море на боевых кораблях и в составе водолазной партии Балтийского флота. Однажды на флот прибыл с инспекцией государь император, и Колбасьев продемонстрировал ему возможности военного водолаза, спустившись в присутствии государя под воду. За это император пожаловал мичману Колбасьеву Высочайшее благоволение. Произошло это на Балтике 18 августа 1884 года.

Колбасьев организует в Кронштадте мастерскую по производству водолазного снаряжения и телефонного оборудования для боевых кораблей, затем почти десять лет выходит в море на различных кораблях, в том числе вахтенным офицером и командиром миноноски. За время службы на флоте Евгений Викторович Колбасьев принёс громадную пользу военному флоту Российской Империи. Он разработал и внедрил конструкции корабельного и подводного телефона, систему телефонной связи с водолазами, способ освещения при работах под водой в условиях ограниченной видимости. Он создал плавающую мину и предложил для им же сконструированной модели подводной лодки проект установки торпедных аппаратов залповой стрельбы...

18 ноября 1918 года на пути домой из Севастополя в Балаклаву капитан первого ранга в запасе Евгений Викторович Колбасьев был тяжело ранен револьверной пулей. Судя по всему, на поезд напала очередная банда, бесконечное количество их шаталось по стране в те годы. Через два дня он скончался в поселке Инкерман под Севастополем.

Так сложилась жизнь этого славного офицера, исполненная трудов во благо Отечества. И так она закончилась в 56 лет. Закончилась вместе с той Россией, которой он служил верой и правдой. В России же, которую начали строить разного рода интернационалисты, ни отцу большого семейства Колбасьеву, ни его детям места не нашлось. Только двое из пятерых детей, Евгений и Вера, смогли избежать преследования и более-менее благополучно устроить свою жизнь. Однако сыновьям Виктору, Александру и дочери Наталье судьба судила немало испытаний и бед.

Остаётся неясной жизнь Натальи Евгеньевны, Тали, Тани, как её называли в семье. В 1922 году из Главного комитета Госстроя она перешла на работу инструктором в Центральное управление водных путей. Видимо, переход был связан с очередными реорганизациями. В ту пору этих реорганизаций было столько, что уследить невозможно — голова закружится.

О Наталье Евгеньевне нужно говорить отдельно. И за точку отсчёта возьмём роковой день 27 октября 1929 года, когда старший

уполномоченный ОГПУ Норко получил ордер на её арест, подписанный Г. Ягодой, и повесткой пригласил её на Лубянку.

2011 год, осень. 17-й шлюз. Сны об отце

Зажился я на 17-м, явно зажил. Погода испортилась, дождь и холодный ветер с моря — «восток», как говорили поморы, пронизывает до костей. Из дома не выйдешь. Надо ехать в город. Тем более, дрова заканчиваются, а совсем садиться на шею начальнику шлюза Олегу Васильевичу, просить дров, вроде как уже неприлично: ему самому целую зиму печки топить.

Сны мне стали сниться тревожные. Отца почти каждую ночь вижу. Вот мы с ним шагаем по пыльной улице соседней деревни. За магазином, в другом крыле здания, пивнушка с высоким крыльцом. Почему-то в те времена пивнушки открыли всюду. Входим. Дым коромыслом, возгласы, громкий разговор. Вижу, в кружки с пивом мужики подливают водку. Сесть некуда — не предусмотрено тут рассиживаться. Отец через головы берёт кружку, пена рыжими хлопьями падает на чьи-то плечи...

В этой пивнушке однажды разгорелась драка и отца ударили в спину перочинным ножом. Но он успел развернуться и перехватить руку зубами. Рука-то у него по существу одна. Нож рассёк губу и слегка порезал китель. Маленькую дырку на кителе помню до сих пор. Мама заштопала её чёрными нитками. Тёмно-синих, под цвет его форменного кителя, у неё не нашлось.

Вот идём за волнушками на второй ручей. У отца большая круглая корзина на два ведра. Он ставит её на тропинку, а сам тихо бродит кругами. Нас такая метода не устраивает, мы бегаем туда и сюда, порой далеко. Когда собираемся домой, всякий раз оказывается, что отец набрал грибов больше нас. Отец очень любил розовые маленькие волнушечки и набирал их большую бочку, что зиму стояла в нашем картофельном хранилище. Такая же бочка стояла там с квашеной капустой.

Вот идём с ним в город. И первым делом топаем через мост на работу к тётке Нюре. Тётя Нюра до войны была женой Владимира, младшего брата отца. Пулемётчика Володю на Ленинградском

фронте накрыла волна осколков от мины, разорвавшейся позади его окопа. Спина, ягодицы, ноги... Всё покрыло горячим железом. К слову, это самые распространённые на фронте ранения пулемётчика. Через несколько дней он умер в госпитале и похоронен на Пискарёвском кладбище. А тётя Нюра осталась с двумя дочерьми и замуж больше не вышла.

Она трудилась на витаминном заводе на берегу реки. Дверь, высокие ступени, жар печей и людской рабочий шум. Тётя Нюра в белом халате с измазанным подолом выносит отцу ковш какой-то цветной жидкости под названием «эссенция», а мне плитку коричневого жжёного сахара. «Это вам полакомиться», — говорит она и стоит рядом, улыбается, смотрит, как мы управляемся с гостинцами.

Потом непременно шагаем в столовую обедать. В столовой, которую почему-то именуют «жёлтый дьявол», просторно, светло и чисто. Подходит официантка в крошечном фартучке и каком-то маленьком белом чепчике. Отец всегда заказывает «дежурное». Официантка приносит стакан с водкой и кружку пива. Чуть позже появляется первое и второе. Моя радость — компот и пирожок. А вечером идём домой и разговариваем. О чём — не могу вспомнить. Автобусы в ту счастливую для меня пору ещё не ходили, а попутки были очень редкими. Да и что там идти — семь километров всего...

Редкими были эти походы, а цели их не знаю до сих пор. И теперь уже не узнаю никогда.

В тяжёлые осенние дни снятся мне такие сны. После них просыпаешься, а на душе чисто, светло и покойно и, как в детстве, хочется плакать. И сам не знаешь от чего. Потом, уже в зрелом возрасте, я проследил жизнь отца по документам и архивам и понял, что бытование с нами на 17-м шлюзе было для него самым спокойным периодом в его недлинной бурной жизни. Мне кажется даже, самым счастливым.

...Ему было уже 19 лет, когда семью отца раскулачили и выслали из родной деревни под Ельцом на Север, в Карелию, валить лес. В 1935 году перевели на Канал. В ту пору и валкой леса, и Каналом, и строительством разного рода в Карелии занимался один хозяин — Беломорско-Балтийский комбинат, читай исправительно-трудовой лагерь ОГПУ НКВД СССР. Отчего следовало

исправлять советской власти моего деда, бабушку и их многочисленных детей, понять трудно даже сейчас, по прошествии почти века. А тогда этим вопросом никто, собственно, и не заморачивался. Себе дороже. Выселяли-то без разбирательства и суда, по спискам, составленным деревенскими комитетами бедноты — комбедами. А бедноте во все времена только дай власть, они такого насоставляют...

Потом война, эвакуация куда подальше, — Канал-то в ста километрах от госграницы. Вдруг эти неразумные люди побегут от доброго счастливого социализма в страну звериного капитализма! А в Коми отца ждали знакомый по Карелии трудпосёлок, лесоповал по 12 часов в сутки и бригадирство на лесосплаве. Потом война, черед госпиталей и после всего этого возвращение на Канал, где и квартира, и уважение, как работающему, всё и всегда умеющему работнику, постоянная и не очень обременительная работа с небольшим, но стабильным заработком, лес, рыба, огороды... Именно здесь, в 33 года, у отца появляется возможность создать и худо-бедно прокормить семью.

Читаю документы отца, архивные справки, медицинские заключения, характеристики, выписки из приказов, думаю и ужасаюсь, сколько же отцовскому поколению предстояло вынести, какая трудная им выпала жизнь!

Печку теперь приходится протапливать с утра. Да ещё и вечером. Иначе среди ночи просыпаешься от холода. Вчера прилетел первый снег — совсем немного, небольшим зарядом. Это разведчик. Теперь жди всегда волнующего события, когда встаёшь затемно и ещё к окну не подошел, а уже чувствуешь слабый свет, будто сам воздух светится-сияет.

Из окна видишь — белым-бело на дворе. Деревья стоят понурые, на ветках пушистые горбки-дорожки, а на траве белая пелена. Снег пушистый, очень свежий, и такая радость на душе, такой восторг! Тут и поймёшь шлюзовскую лошадь из детства, которая, помнится, скачет в такую пору по снегу, взбрыкивает от радости, скользит копытами на поворотах, и глаза у неё светятся озорным бесшабашным блеском.

Мне и самому хочется так вот побегать, поваляться в свежем и молодом снегу, как это бывало в детстве, только вот годы уже не те. Да и без бе-

готни и валяния такая радость в душе, хоть пой!

Сегодня думаю о Наталье Евгеньевне Тобольцевой. Не знаю почему, но именно она, её судьба засела у меня в голове с раннего утра. Может, потому, что в 1932 году в такую же пору предзимья было ей на Хижозере особенно тошно. Она только начала возводить дамбу и водоспуск, как с осенними дождями и первым снегом, который всегда тает, началось и подтопление стройплощадки. Но это было потом...

**1932 год,
Повенец, управление Беломорстроя,
инженер Поляков**

Главный инженер Беломорстроя Н.У.Хрусталёв пригласил инженера Полякова в кабинет к 23 часам, предложил чаю и сообщил, что нужно что-то предпринять в связи с тревожными письмами старшего прораба Хижозерского водохранилища инженера Тобольцевой. Всё управление уже знало об этих письмах.

— Давать советы из Повенца мы больше не можем, — сказал Хрусталёв. — Плотина построена, хоть и зыбкая ещё, не укреплена, но вода накапливается и давит. И если бы только сверху. Тут всё понятно. Но почему она питает тело плотины снизу — вот задача. Тобольцева наблюдает: тело плотины напитывается водой из Салмоозера, которое на несколько метров ниже. Как такое возможно? В вашей практике, Юрий Петрович, не бывало такого?

Поляков поставил стакан в тяжёлом подстаканнике на стол и качнул головой.

— Вероятно, есть нечто, о чём мы не знаем, Николай Устинович. Это может быть сильный выход грунтовых вод из скального разлома, может, что-то неординарное ещё. Нужно исследовать на месте. Иного выхода не вижу.

— Думаем послать вас. Возьмётесь, Юрий Петрович?

— Интересная задача, почему не взяться. Когда отбыть?

— Пойдите, отдохните и завтра с утра направляйтесь. Приказ на откомандирование возьмёте у секретаря. Только, к сожалению, в Хижозере сейчас даже продукты не доставляют — дороги не просохли, слякоть. Как добраться — это ещё одна проблема для вас. Хотя слышал, завтра с нашей

базы до седьмого шлюза пойдёт машина с цементом. Это уже полпути.

Поляков знал Тобольцеву. Дважды слышал на совещаниях её доклады, всегда энергичные, даже жестковатые в суждениях. Полякову не нравилась подобная жёсткость. Он считал, что жёсткость в суждениях родная сестра однолинейности мысли, губительной для инженера; ему должно быть присуща альтернативность в выводах.

Поляков убеждён, что инженер должен допускать возможность иных выводов, других решений возникающих проблем. Тем более на строительстве, подобном нынешнему, когда многое неясно, не изучено даже в мировой практике. Одни плывуны, когда некая многометровая зыбкая масса под ногами не даёт шансов закрепиться. Или хронический дефицит потребного для строительства металла, цемента, специальной техники. И необходимо постоянно искать и находить способы, как заменить всё это деревом и местным материалом из карьеров. Да, необходим инженерный поиск, варианты и варианты решений.

Единственное, в чём нет дефицита на Беломорстрое — это рабочая сила, люди. Поляков не перестаёт удивляться, насколько изобретательны, неординарны русские люди. Чтобы ускорить дело по цементации скалы, закупили за границей станок Сандерсона. Но он единственный на двухсоткилометровую стройплощадку. Тогда механики из заключённых станок разобрали по винтику, изучили и сделали десять точных работающих копий...

И это ведь не только на Беломорстрое. Оба раза, когда Тобольцева приезжала в Повенец на большие производственные совещания, время оказывалось расписано так плотно, что Полякову поговорить с ней так и не удалось, хотя и очень хотелось. Эта миловидная, стройная и строгая женщина держалась со всеми ровно и с достоинством истинной дворянки. Поляков не удивился, когда узнал, что семья её числилась по околотчерноморскому дворянству, а отец из флотских офицеров. И ещё больше Поляков был озадачен, когда коллега по техотделу сообщил, что в управлении трудится гражданский муж Тобольцевой, бывший сотрудник Госплана Чернилов. Он точно знал, что Тобольцева никогда не просила у Хрусталёва или начальника

строительства Успенского разрешения остаться при муже хотя бы на день-два.

«Интересно, отчего так, — не мог понять Поляков. — Ведь относительно молоды оба. И супруги. И почему сам Чернилов не настоит?»

Он, Поляков, будь его жена здесь, непременно добился бы, чтоб осталась. Ещё лучше — перевёл её куда-нибудь поближе.

Он подумал так и вспомнил свою Шуру, её осторожный, всегда почему-то настороженный, украдкой, взгляд. И тёплый, гладкий поток волос ниже плеч, до лопаток, и горячий шепот тогда, накануне ареста, в их последнюю ночь. Поляков теперь точно знает, что жена чувствовала близкое расставание, душа её протестовала. Она плакала горькими слезами и не отвечала на его вопросы, почему плачет. Только качала головой из стороны в сторону и молчала. Видно, знала, не поверит, станет бранить, мол, чего это ты расстроилась, с чего вдруг взяла эту нелепость о расставании, он ведь ни в чём не виноват. А она ничего не сможет ему объяснить. Потому что женщина, а он мужчина. И как ему объяснить, почему она многое знает наперёд, а он не знает?

Поляков жестко потёр лоб ладонями и потрянул головой. Устал, подумал он. Почти круглосуточный режим работы кого угодно вгонит в усталость. Тут нужно быть Френкелем, чтобы всегда оставаться в форме. И пошел на квартиру отдыхать.

Начальник работ Беломорстроя Нафталий Френкель поделился однажды в их отделе, каким образом развить способность круглые сутки быть в работе, в движении. Сам мог свободно в ночь-за полночь оказаться на любом объекте, днём на совещании, вечером на базах снабжения в посёлке. Где угодно.

«Да сплю я больше вашего, — сказал он инженерам. — Сейчас пойду, прилягу на кушетку и час-полтора посплю. Потом привалюсь в конторке начальника какого-нибудь объекта. И так четыре-пять раз, но не больше часу-полтора кряду. Главный секрет — научиться мгновенно засыпать».

И рассказал, что узнал о подобном стиле жизни в раннем детстве, прочитав книжку про волков. И маленький Френкель, оказывается, долго тренировал в себе эту способность, еще не подозревая, как она пригодится ему в жизни.

Рано утром Поляков нашёл на базе грузовик на Водораздел и долго препирался с водителем, который уже пообещал кому-то место в кабине. Поляков думал, кто же это такой важный, что заключённый из-за него горячо спорит с сотрудником управления, не боясь потерять баранку и оказаться на общих работах. Он не очень удивился, когда увидел розовощёкое создание в большом не по росту лагерном бушлате с закатанными рукавами. Оказалось, повараха из столовой на седьмом шлюзе возвращается из больнички, где лечила ожог на руке. Из короткого разговора понял — водителева зазноба. Пришлось посадить и её, предварительно сняв бушлат и крепко потеснившись. О дальнейшем пути до Хижозера довольный водитель сказал Полякову коротко: «Только пешим ходом, гражданин начальник. Да и то не по дороге, а по обочине, кое-где лесом в обход. Дороги туда сейчас нету никакой».

...Поляков проснулся затемно и, не открывая глаз, стал вспоминать вчерашний путь, узкую дорогу с колеёй, доверху залитой холодной водой, бесконечную мокрядь леса при обходе особо глубоких участков, сплошные камни и колдобины. Вначале он ещё пытался обойти низины и не попадать сапогом в колею, но с полпути плюнул и топал как получится, мокрый по пояс и ко всему равнодушный от усталости.

Перед Хижозером его встретил патруль охраны и проводил до ближайшего барака. В бараке никого не было, смена ещё не закончилась, но посреди пылала печь, выкроенная местными умельцами из металлической бочки. Во всех бараках Беломорстроя, где удалось побывать Полякову за эти год-полтора, стояли такие бочки-печи. Он развесил для просушки одежду, приспособил рядом сапоги и мгновенно уснул.

Теперь Поляков услышал, как возле печки кто-то сопит и матерится. Он открыл глаза. Мужик в накинутой на плечи фуфайке старательно натягивал на ногу его, Полякова, сапог. Сапог высох, приобрёл жестяную крепость, и натянуть его стало проблемой. Поляков приподнялся на локте и тихо сказал мужику, что тот ошибся, это сапог его, Полякова. Мужик глянул исподлобья и продолжил прилаживать сапог себе на ногу.

«Были ваши, стали наши, — спокойно, по-хозяйски, сказал мужик. — Теперь твои вот эти». И

бросил к Полякову сношенные до предела мокрые обувки, бывшие когда-то сапогами.

— Ты не прав, — спокойно сказал Поляков, поднимаясь с нар. — Мои сапоги вот эти.

Поляков хорошо знал лагерь и кодекс поведения здесь. Если дать слабину, никакой работы не получится, никто не станет его слушать и тем более помогать. Будут только посмеиваться, как принято посмеиваться над городскими интеллигентами, и мешать. Он подошёл к мужику и тихо попросил:

— Верни сапоги.

— Да ты что, падла, глухой, что ли? — взвился мужик. Он вскочил с лавки и угрожающе надвинулся на Полякова. — Гляньте! — закричал мужик. — Этот гад у простого ээка последние сапоги отнять хо...

Поляков присел и, словно сжатая до предела пружина, волчком развернулся на одной ноге и подскёк тыльной стороной голени ноги мужика сзади. Это была классическая «кайтенгари», «хвост дракона», излюбленный его приём из джиу-джитсу. Мужик с грохотом рухнул на скамейку, ударившись затылком о край стола так, что стол опрокинулся. Поляков упёрся коленом в грудь мужику и сдавил пальцы на кадыке. Это завершающий аккорд — «тахо дзиме».

— Хр-хр-х-х-х, — сообщил мужик. — Х-х-х-фсё... Падлой буду...

— Что за буза тут у меня? А ну прекратить, а то охрану вызову!

Женщина в бушлате под ремнём возникла у двери.

— Это вы, товарищ Поляков, порядок нарушаете? Мне доложили о вашем прибытии. Такого от вас не ожидала.

— Рабочий момент, Наталья Евгеньевна, — сказал Поляков. — Вот он решил, что мне лучше без сапог, а я не согласился.

— И теперь всех несогласных на Хижозере бить будете?

— Нет, товарищ Тобольцева, не всех. Только тех, кто попросит.

Ропот на нарах прекратился. Стало слышно, как трещат в печи поленья. «Кажется, прописался», — подумал Поляков.

— Ну-ну, только посмейте! Без вас уполномоченный с шеи не слезает. Собирайтесь в штабной барак. Пора за работу.

Шагая в темноте предутренней ноябрьской ночи вслед за Тобольцевой, Поляков вспоминал крохотный институтский спортзалчик и два счастливых года с Виктором Афанасьевичем Спиридоновым, мастером джиу-джитсу и настоящим наставником. И одну на всех книгу в истрёпанной обложке: «Жиу Житсу. Японская система физического развития и самозащиты» профессора Кара Ашикага 1911 года издания. Эту книгу он знал наизусть. Занятия запретили, но ему вполне хватило навыков, чтобы постоять за себя там, где слова уже не имеют силы.

17-й шлюз. Кузнец Миша

Сегодня утром выносил во двор ведро и обнаружил на своём крыльчке согбенную фигуру мужичка. Затрапезная рабочая куртка с вытертыми до блеска локтями, кепчонка кроя 50-х, и курит в кулак. Всё-таки неистребима в бывших сидельцах эта привычка — курить в кулак. Хотел было пройти мимо, но мужичок тихо окликнул: что, не узнаёшь, мол? Я пригляделся: ба, да это Миша, наш шлюзовской кузнец, он же плотник и на все руки работник. Я уж думал, нет его на свете, а он есть и сидит тут. С юности помню его только в одном качестве — стариком, теперь сам почти старик, а он — вот! Мы всегда меж собой звали его Миша, да и не только мы, пацаны, а все взрослые в посёлке тоже. И никто не знал, когда он появился, откуда приехал. Да и разговаривать с ним было невозможно. Бросит реплику, поднимет на секунду глаза, сверкнёт взглядом и снова упрётся в землю.

— Здравствуй, Миша, — говорю. — Никак не ожидал тебя встретить.

— Думал, небось, под Лисьей горой уже, на кладбище? — усмехнулся он. — А я, видишь, зажился немного.

— Ну, заходи, чайку сгношим.

— Не, я уже. Присядь, потолкуем на воздухе. Чего по кухням сидеть. Насидимся ещё зимой-то. Вон она, уже за леском. Скоро здесь будет.

Я занёс ведро в дом и сел рядом на остывшие за ночь доски.

— А ты, смотрю, поднялся. Книги пишешь толстые. По телевизору показывали, радио говорило. Молодец! Это редко. Никто из наших канальских так не поднимался.

— Как думаешь, почему?

— Прошлое якорем держит, — сказал Миша уверенно. Он длинно сплюнул с крыльца и уточнил. — Хреноватенькое у нас прошлое.

— Не-е, Миша. Прошлое такое, какое есть. Мы его не выбирали. Было время, считали замечательное, теперь наоборот. А оно всё то же, что раньше, что теперь. И нечего на него пенять.

— Может, и так. Тебе видней.

— А ты с какого года на 17-м? Никогда не слышал про тебя — откуда, кем был, как попал?

— Я помню, как твой отец из Коми приехал, — соскочил с вопроса Миша. — Холоднущая зима тогда выпала. Дмитрий Иванович сильный мужик был, хоть, считай, без руки. С ним не забалуешь. Умел слово сказать, будто вожжами по заднице. Его сразу механиком поставили.

— А ты как сюда?

— У меня тоже история. На Канале без истории не бывает, сам знаешь.

— Расскажи, что помнишь.

— Только в книге про меня не прописывай, не надо. Знаю мало. Отца взяли из деревни в 30-м. Он грамотный был, и его сразу отправили в топографическую партию на Выгозеро. Измерения разные перед началом стройки проводить. Говорили потом, мол, снабжения никакого не было: сапог нет, лапти на ногах, палаток нет, спецодежды и настоящего инструмента нет, только лом да лопата с топором. И сплошные болота кругом. Отец простыл. Какая-то скоротечная болезнь случилась, то ли лихорадка, то ли туберкулёз.

Отец с партией в поле выходил, я на квартире оставался. Ну, меня сразу наладили в трудовую колонию для малолетних в Надвоицы. Безнадзорный, мол, ничей то есть. А колония она и есть колония. Случилась драка, побили кое-кого. Чуть возраст подошёл, и сразу срок. Нас всех разбросали по разным зонам, чтоб, значит, не кучковались в стаи, так сказали. Меня в лагерь в Телекино, к 9-му шлюзу поближе. В 46-м освободили, но уехать не дали, говорят, выбирай любой шлюз, везде в шлюзовых командах недобор кадров. Я выбрал 17-й, мол, от начальства подальше и работы поменьше — шлюз-то однокамерный. Вот и живу.

— А мама?

— Мама у нас уже не было. Заболела от голодухи и быстро умерла. Ещё когда в деревне жили.

— А Козырева хорошо знал?

— Как не знать. Он меня на посылках держал. «Мишка, сгоняй на 16-й. Мишка, надо крыльцо починить. Мишка, съезди в гарнизон за пайком...» И пугал всё время, ты, мол, на зоне чалился, а тут режимный объект. Захочу, завтра со шлюза вышибу. Под мостом в Беломорске спать будешь.

— Николай говорил, будто их по-особенному снабжали.

— А то! На лодке в гарнизон сплаваю, получу продуктов на месяц, а с берега за раз унести не могу. Три дома на их паёк прокормить можно было.

— Ну, например?

— Я же всё помню. Козырев не доверял, каждый раз по бумажке всё проверит дограмма. Считаю сам: картошки 16 килограммов, хлеба 36 килограммов, крупы разной 5 килограммов, мяса 6 килограммов, сливочного масла и прочих жиров 1,5 килограмма, подсолнечного масла 750 граммов, сахара 1 кило. Даже сгущенного молока 3 банки. Всё помню. И это на троих!

— Куда же они всё это девали? Ведь не съесть!

— Куда-куда — на кудыкину гору. Паёк им привезу, а Козырева жена на следующий день в город шмыг, посылки родне отправлять. Вижу, ты с ихним Колькой возжаешься, а зря: он ведь натурой вылитый отец.

— Ничего плохого он мне не сделал. Что мне от него шарахаться?

— Случая не было, вот и не сделал.

В последние годы тихо на Канале. Не гонят волну сухогрузы, — мало их стало на трассе, — не кричит судовая громкая связь, не бьют в стенки шлюзовых камер буруны из-под судовых винтов. Экономические взаимоотношения между северо-западными регионами упали до нуля. Это в 60-70-х и первую половину 80-х шлюзовым командам некогда было чаю выпить. Бывало, отец придёт, заварит чайник крепчайшей заварки, перельёт в пол-литровую банку, чтоб остыл (была у него такая странная привычка — пить крепкий остывший чай, точнее, одну заварку), а тут уже бегут: «Дмитрий Иванович, пароход снизу просится».

Теперь только туристы снуют с Кижей на Соловки и обратно. И попутно с борта комфортабельных пассажирских лайнеров с послеобеден-

ной сигаретой изучают знаменитый объект первой советской пятилетки, созданный по велению Сталина на крови невинных россиян, как пишут в путеводителях. Повторяют это как мантру, не вдумываясь и не размышляя. Как когда-то повторяли большевистские тезисы про кроважидное самодержавие. Ничего не переменялось в нашей психологии. Кроме тезисов.

— Ты как, выпиваешь? — спрашивает Миша. — Пишут, писатели крепко закладывают.

— Бывает, и выпью, если случай какой.

— А есть?

— Найдётся немного.

— Так неси, чего зря сидеть.

Я вынес оставшиеся полбутылки, стопки и кое-что закусить, разложил на газетке. И ещё раз удивился: мужику за 90, а про стопку помнит! Правда, он и раньше мимо не проносил.

Миша строил из обычных досок прежде невиданные в наших краях лодки-плоскодонки. Лодки выходили в виде ромба, имели низкие борта и были очень удобны для рыбалки. Он выезжал, становился на якоря и многими часами сидел, сгорбившись над поплавками, и редкими глотками попивал водку из маленькой бутылочки. Правда, однажды «маленькая» едва не довела до беды...

Как-то зимой Миша позвал меня, ещё совсем подростка, на рыбалку на дальнее озеро. Пути было 12 километров, но стоял конец марта, солнце днём и крепкие утренники покрыли сугробы прочным настом, и мы дошли безо всякого труда. У истока речки пробрили лёд пешней, — Миша ковал в кузне из рифлёного стального прута фирменные лёгкие ломки с кольцом под руку, и стали рыбачить. Но клёва не было. Он достал «маленькую», закусил хлебом с луковицей и запил водой, черпая пригоршнями прямо из лунки. Однако на полпути домой Мишу развезло, и силы закончились. Он лёг на снег и объявил, что дальше идти не сможет. К тому же к вечеру мороз ослаб, началась позёмка, и лыжи через шаг-другой стали проваливаться.

Нужно сказать тут, что это самое неприятное в подобных случаях. Одно дело, когда снег рыхлый, другое, когда ни то ни сё: то ли держит, то ли нет. Ступаешь и ждёшь — удержит лыжу или провалится. И проваливается почему-то всегда

неожиданно, да так, что зубами клацнешь, и спина заболит, будто оглоблей хватили.

Как только я его не уговаривал! Чего только не обещал! Миша поднимался, делал пару-тройку шагов и снова валился без сил. Я умолял его дойти до леса, тут пара километров-то всего, а потом, мол, схожу за его женой Настей, она запряжёт коня и вывезет его домой. Он снова делал два-три шага и падал в снег. Уже ночью, совершенно изнемогшие, мы вернулись в посёлок. Я подумал, помнит ли он о давнем походе? Но спрашивать не стал, ему могло оказаться неприятным это воспоминание.

«Зачем он пришёл сейчас, — думал я, разливая остатки водки по стопкам. — Я ведь и раньше бывал в посёлке, бродил тут и один, и с Николаем, и все местные видели. И чай, бывало, распивал у бывшей соседки, теперь старенькой совсем. Хотел бы, вышел, и встретились, и поговорили. Никто не мешал. Может, нужда какая привела, похлопотать где-то попросит, письмо в инстанции написать?»

— Ты живёшь-то как? Пенсии хватает?

— Нормально живу. Картошка, лучок, грибки-ягодки есть, на уху, бывает, поймаю. Чего мне ещё?

Мы допили водку, разговор истаял, и пора была расходиться. Но вижу, томит что-то Мишу, мнётся, сказать что-то хочет. Потом не выдержал:

— Тут мы за Козырева поминали. Ты по малолетству не знаешь, но у него с твоим отцом большой скандал вышел. Он твою маму, Шурку то есть, подлавливать начал, зажимать. Все это знали. Она терпела-терпела, а потом как-то на смене его веником исхлестала. Да при всех. Хорошо бы ударила чем, а то веником, как блудливого кота. Дмитрий Иванович от баб узнал и культёй своей за сараями так отмахнул его по роже, что нос набок. Потом по пьянке Козырев не раз ругался: «Весь марютинский род выведу. Я не успею, сын добьёт».

Миша поднялся, сунул руку попрощаться и говорит виновато:

— Не знаю, надо тебе знать про то, не надо. Дело-то давнее. Только зря такие слова не говорят.

Я подумал, Миша не просто предупредил о давнем конфликте родителей с Козыревым, но вроде бы запоздало отблагодарил за давний по-

ход, что не бросил его там, на снегу, одного. По крайней мере, мне хочется думать так.

2011 год, начало зимы. Тобольцева

Начать хочется, как я и обещал, с 27 октября 1929 года. В этот день старший уполномоченный ОГПУ Норко повесткой пригласил Тобольцеву на Лубянку. Она собралась и пошла, поскольку в глубине души, втайне даже от себя, ждала вызова. Этот день в Москве выпал тёплый, и она не взяла с собой никаких вещей, только книгу, подумала, мол, народу там толкается много и ещё насидишься в очереди.

Она знала, как знали в городе все, что идут массовые аресты. Берут военных, инженеров, врачей, журналистов и писателей с поэтами. Бесконечно ходят на допросы их сослуживцы и родные; некоторые после допросов не возвращаются домой, от следователя попадают прямо в камеру. И многих, с кем она работала на Шексне и здесь, в Центральном управлении водных путей Народного Комиссариата пассажирских сообщений, уже арестовали. Никакой вины за собой она не чувствовала, как не знала вины за теми из коллег-инженеров, кто уже находился под следствием. И она решила для себя, что позора ареста не переживёт. У неё муж в Госплане, мама, сёстры и брат. Как смотреть в глаза после этого? И была спокойна. Она подготовилась к любому исходу дела.

Однако на Лубянке долго ждать не пришлось. Дежурный сотрудник молча провёл её к кабинету старшего уполномоченного Норко, доложил и сразу ввёл в кабинет. Норко хмуро полистал паспорт, спросил, есть ли какие-то документы ещё. Она подала служебный пропуск в управление. Норко документы не вернул, отложил в сторону и объявил, что она задержана по подозрению в участии во вредительской группировке в Центральном управлении водных путей.

— Какая ещё группировка? — спросила удивлённая Тобольцева. — О чём вы говорите!

— Нам всё известно. А с вами разберёмся, — ответил Норко и вызвал конвоира. — В камеру!

— Следуйте за мной, — приказал конвоир и повёл длинными коридорами в другой конец здания. Она шла следом и думала, что это конец. Случилось то, что она надеялась избе-

жать, но не избежала. Завтра придут из НКВД на работу, перетрясут бумаги на рабочем столе и небрежно соберут личные вещи. Коллеги с ужасом станут смотреть на пришельцев в фуражках и портупеях и с испугом думать о ней и о себе. Наверное, всё-таки больше о себе. «А ведь кто-то и поверит, — подумала она сейчас с тоской. — Поверит в какую-то вражескую группировку и что сидел рядом с настоящим врагом, как пишут теперь в газетах, «умело замаскировавшимся». А что станет с Георгием Александровичем, её гражданским мужем? Что будет с ним, когда в Госплане узнают?»

От этих мыслей и ощущения полной безнадёжности ей хотелось заплакать в голос. Нет, нет и нет...

Конвоир вёл и вёл её куда-то длинными переходами. Казалось, переходам этим не будет конца. Наталья Евгеньевна переложила сумочку в левую руку, а правой незаметно достала маленький бумажный пакетик. Такие пакетики, свёрнутые конвертом, обычно дают детям при простуде. Не замедляя шагов, она раскрыла его и быстро высыпала в рот содержимое. Она ожидала, что будет неприятно, горько и трудно проглотить без глотка воды. Однако порошок скользнул легко, словно карамелька, и по вкусу оказался чуть с горчинкой, с каким-то едва ощутимым привкусом химии.

Они дошли до камеры. Что было потом, она помнит плохо. Откуда-то издали слышится лязг бесконечных решёток, громкий гул шагов и скрип тяжёлой металлической двери. Ещё вспоминает едва видимые, будто сквозь запотевшее оконное стекло, испуганные глаза женщин на измученных лицах... Очнувшись от холодных брызг на лице. И первое, что увидела, — белый потолок, услышала торопливое шарканье обуви и резкий неприятный голос рядом: «Ну, зараза, задала нам работы!»

Она очнулась в тюремной больничке и с горечью подумала, что осталась жива. И заплакала...

Я долго изучал документы из пакета Агеева о прорыве дамбы на Хижозере и должен признать, что в случившемся никак не угадывается вина старшего прораба Тобольцевой, которая потянула бы на «высшую меру социальной защиты». Не

говоря уж о Полякове. Каким образом уполномоченному НКВД «kozyрному» удалось сфабриковать дело о «вредительской преступной группе» теперь уже здесь, на строительстве, непонятно. Ещё более непонятно, почему ему поверили. Каким-то немислимым образом Агеев обнаружил и сохранил вырезку из лагерной газеты «Перековка» с очерком Натальи Евгеньевны о декабрьской аварии. Очерк написан буквально по следам события и местами сбивается на репортаж.

«...Декабрь месяц. Самый тяжёлый момент в жизни Хижозера. Сообщение почти прервано поднявшейся со всех сторон, запертой в своих стоках водою Водораздела. Медленно подступающая зима не успевает сковать воду. Она превратила дороги в сплошные реки с толстыми торосами, местами выступающими из льда. Торосы не давали проехать автомобилю и телеге, а сани затапливались водою.

И в этот момент не выдержала перемычка. Вода прорвалась, и злбные потоки, вымещая вынужденное заключение, хлынули вниз, размывая сооружение. Хлещет, ревет вода, разрушая как бы уставшую от напряжения и обесилевшую преграду...»

И старший прораб Тобольцева описывает, как это было тогда, тёмной промозглой ночью 15 декабря 1932 года:

«... Мобилизованы все силы. Весь лагерь — на перемычке. Вереницы грабарок подвозят грунт, наполняем мешки, сбрасываем их во всё расширяющийся прорыв. Рёв воды, шум, крики голосов! Скучно бросают свет электрические лампы. Разъярённая вода подхватывает мешки и уносит потоком вниз...»

Но самое главное, что хотела сказать своим очерком Тобольцева, заключено в следующем абзаце:

«Но мы чувствуем, что здесь собралась одна семья — товарищи общего дела, охваченные одним общим желанием, одною мыслью: всё сделать, даже невозможное, но построить в срок своё сооружение...» И это пишет руководитель преступной вражеской группы о лагерниках, заключённых, тех, кого власти признали преступниками и врагами государства...

Документы свидетельствуют: Тобольцева много раз предупреждала о возможности аварии, писала в управление о странном поведении грунто-

вых вод на строительстве. Даже непосвящённому понятно: если перемычка наполняется водою... снизу, из озера, расположенного несколько метров ниже уровня, — а длительные наблюдения говорят именно об этом, — то у любого инженера от подобного чуда голова пойдёт кругом.

Уже после прорыва перемычки начальник производственного отдела строительства инженер Г.В. Ефимович направил докладную записку главному инженеру: «По моему поручению инж. Тобольцева вела и ведёт наблюдения за положением в теле дамбы дренажной кривой. Из прилагаемых документов усматривается, что картина прохождения фильтрационных вод носит исключительно необычный характер, вследствие чего прошу ваших распоряжений об организации на месте специального изучения этого вопроса под руководством достаточно авторитетного лица».

«Авторитетное лицо» уже более месяца находилось в Хижозере. Это был инженер Юрий Петрович Поляков. Там же находился и уполномоченный НКВД по южному участку строящейся трассы. Он был занят своим делом, расследовал причины прорыва дамбы, точнее — назначал виноватых. Да он их уже назначил заранее...

Как я жалею, что не записал номера телефона Агеева! Самое время позвонить. Где же обещанные материалы его товарища? Что случилось? Бывшие коллеги отказались помочь, заболел или, не дай бог, умер? Как нужен мне сейчас взгляд с другой стороны, со стороны «kozyрного»! И хоть мало свидетельств, наверное, можно добыть сегодня, но даже разрозненные факты могли бы помочь понять, как плёл он свою паутину вокруг Тобольцевой и Полякова.

2011 год, октябрь. Больница. О жене

Неделю не звонил домой жене, а сегодня пришлось. Заболело что-то в животе с вечера, ночь промаялся, воды выпил целый графин — не помогло. Графин нашёл в шкафу, на дальней полке. Бывалый, видно, артефакт минувшей эпохи. Прежде ведь без транспаранта за спиной со славой или обещанием перевыполнить, с трибуной для докладчика и графина на тёмно-зелёной казённого цвета скатерти собраний не начинали.

Говорю жене: пошли с Николаем таблетки, что-то живот заболел. Спрашивает, какие таблетки? А я откуда знаю какие. От живота какие-нибудь. Так нет, сама прикатила. Прошла на кухню, пошарила по шкафам и говорит: удивляет не то, что у тебя живот заболел. Поразительно другое: как ты при такой еде ещё жив. Спасибо, говорю, жена, на добром слове. То, что не помер, извини, конечно, но это поправимо.

В общем, взяли они меня с Николаем в машину, скрюченного, и отвезли в больницу. Едва бумаги успел собрать. В больнице всё бегом и бегом: ощупывания, анализы, потом рентген... Кончилось всё койкой в палате на шестерых, уколами и капельницей часа по три кряду...

Через пару дней о перемещении из рая 17-го шлюза под надзор врачей узнали знакомые и коллеги. И начались бесконечные звонки с настойчивым требованием поскорее выздоравливать и вставать в строй. Говорю, да я не против, всем сердцем рвусь, да вот люди в белых халатах обложили, обвязали трубками, нещадно тычут иглками в разные места и не пускают. Но ты давай держись, говорят. Спасибо, отвечаю, буду держаться, тем более у кровати специальное приспособление есть. Некоторые понимают и заканчивают бодро: ну тебя на фиг. Мы волнуемся, а ты всё шутишь. Смотри, дошутишься.

Позвонили из издательства. Это прагматики. Уговаривать поскорее встать в строй не стали, а спросили с рабоче-крестьянской прямоотой: рукопись где? Почти готова, бодро отвечаю, но ожидаю вскорости дополнительный материал и, как только поступит, в неделю завершу и вышлю. Ждём, говорят. И чтоб было интересно. А то читатель капризный пошёл, всё ему не так: то интриги мало, то крови много, то трагическую любовь подавай. Планы на второе полугодие верстаем, смотрите не опоздайте.

Деловые люди, приятно общаться. А то размазывают с придыханием, где болит, что говорят, как спится, чем кормят...

Через пару недель, когда уже все бока отлежал на жёсткой больничной койке, а руки и живот стали наполовину синие от бесконечных уколов, врач на осмотре посмотрел задумчиво и

пригласил в ординаторскую. В ординаторской после одиннадцати все столы заняты и стоит напряжённая тишина. Все доктора старательно что-то пишут. Как школьники во время сочинения на вольную тему. Бедные, бедные доктора! Сколько же заставляют их писать! И кто это всё читает!

Доктор посмотрел на меня как на убогого и спросил с некоторым укором в голосе:

— Вам после операции в июне объяснили, как питаться?

— Да, — говорю, — доктор, объяснили. Даже переписал на отдельный листок, что можно, сколько и что нельзя.

— Ну и? — спрашивает доктор.

— Неделю держался, а потом листок потерял и живу теперь как могу: листка-то нету.

— Что вам этот листок дался? — явно заводится доктор. — Если вы и дальше намерены поглотить эти, к примеру, бич-пакеты, вам до лета не дожить, понимаете вы это или нет? Там же химия одна, ароматизаторы, красители, консерванты и прочий крысиный яд.

— Зря вы так про бич-пакеты, доктор, — отвечаю вежливо. — Даже обидно немного. — А сам думаю, откуда узнал. Наверняка жена насплетничала. Не зря китайцы говорят: длинный язык жены — лестница, по которой в дом приходят несчастья. — Бич-пакет удобная в быту штука, — объясняю доктору. — Кипяточку плеснул, пять минут, и обед готов. Даже посуду мыть не надо — продолжай свои занятия. Свобода!

— Ну, считайте, я вас предупредил, — хмуро ответил доктор. — Вы человек грамотный и более чем взрослый. Вам и решать...

И выписал домой. На следующее утро я получил выписной эпикриз, переоделся и немножко пьяный от разбавленной лекарством крови и счастья избавления приехал домой. А дома... пакет из Москвы! Лежит, голубок, на тумбочке в прихожей, такой скромненький и совсем не толстый. У меня даже голова закружилась. Чуть было не упал у порога.

...Я тут нелестно вспомнил жену и должен покаяться: были, были у нас иные времена. Иногда наплывают сны из юности, непременно связанные с какими-то хозяйственными хлопотами. В ту пору хлопоты эти казались

помехой, откровенно мешали и даже раздражали порой. А теперь смотришь, будто из рая они, и душа поёт.

В ту пору жили мы уже вместе. То в её комнате в ближайшем посёлке, то в моей, уютной и с печкой, в нашем доме на 17-м. Во время ремонта выделили эту комнатку для тяжелобольного отца. Отец лежал, и предполагалось, что здесь в холода и печку подтопить можно, и дверь отдельной прикрыться от гомона дома. Но не срослось. Отец умер в конце февраля в общей с матерью постели, отгороженной от кухни перегородкой. А сюда поселился я сам. У отца было очень крепкое сердце. Высохший до невозможности, он лежал и тихо просил сердце: «Отпусти, отпусти...»

Комнатка жены была одна из трёх, выделенных молодым учителям в качестве общежития для молодых специалистов. Они приехали в одно время, принесли с местных помоек разобранные солдатские кровати с панцирными сетками, разложили по подоконникам стопы книг, а по стенам развесили разные девичьи финтифлюшки и стали весело жить. После авансов и получек устраивалась неременная гулянка — пир живота. А за три-четыре дня до очередного аванса-получки средства к существованию обычно заканчивались. Тогда я приносил из дома картошку и иногда куликов и уток, подстреленных в окрестностях шлюза. Потешно было наблюдать, как они чистили дичь, отвернув носики, все в пуху и перьях и с выражением безграничного страдания на лице. Но не зря говорится, голод не тётка.

Я должен заметить, что матери не нравилось наше с молодой женой житиё в её доме. Думаю теперь, и не должно было нравиться. Уж очень разные у них судьбы. Мама с девяти лет по детдомам, интернатам и кулацким трудосёлкам, всю жизнь проламывалась сквозь житейские преграды сама. Некому было помогать. И мало что сама, так ещё и троих сестёр тащила за собой. А тут ухоженная, сытенькая девочка с высшим образованием из большой обеспеченной семьи, хотя и крестьянской.

Я замечал мамино неудовольствие. Но ни разу она не высказала его вслух. Думаю, потому ещё, что чувствовала во мне добрый отпечаток отцовского характера.

В тот год выдалось замечательное лето! Мы справились с основными сенокосами, но оставался невыкошенным последний, самый дальний. И мама постоянно напоминала мне о нём однообразными напоминаниями, мол, все уже накосили и убрали, а у нас за озерком... Дальний участок так и назывался: «за озерком».

И вот праздник какой-то нагрязнул, два выходных кряду, замечательная погода, и нужно идти. Я собрался пораньше, а тут жена: возьми да возьми. И уже совсем категорично: я тоже пойду! Я не брал её на сенокос, в том просто не было нужды: сам как лось здоровый, на кой мне ещё помощник. Да и комары, жара... А тут пойду, и всё тут.

Дорога недалёкая. Полевой тележной дорожкой выходим из посёлка за огороды. Слева и справа начинаются совхозные поля-сенокосы. Они уже убраны, сено уложено до зимы в стога и зароды, но запах разнотравья стоит такой дурманящий, такой густой, что, думаешь, голова закружится!

Лет сорок назад на этом месте стоял лагерь, с бараками, конюшнями, столовой, подсобным хозяйством, громадными теплицами и штабом. Я мальчишкой помню его останки. Мы приезжали сюда из посёлка с тачками, разбирали бараки на дрова, ужасаясь полчищам клопов меж досками. Помню, раз или два находили записки. Записки следовало относить начальнику шлюза — с этим строго. И я не помню содержания ни одной из них. Но теперь, глядя на луговое приволье, вдыхая пьянящий травяной настой, не могу отделаться от другого ощущения. Сотни заключённых мужчин и женщин года три жили на этой земле. Честно говоря, мне всё равно, виноваты ли они были перед законом или не виноваты. Они строили наш 17-й шлюз, к слову, один из небольших на Канале, безмерно уставали от трудной ручной работы, вспоминали о доме и родных, страдали, плакали, отчаивались. И всё это не могло пройти бесследно.

Я не тонкий человек и от мистики далёкий. Однако убеждён: людское горе никуда не девается. Оно висит незримо чёрным облаком и так или иначе напоминает о себе. И всё равно, чем это горе вызвано. Оно висит над Бородинским полем, над Прохоровкой, над топкими болотами Мги и

Синявина, над всей Курской дугой и, разумеется, над Каналом. И мне кажется, существует только один способ избавиться от него: вслух сказать правду и покаяться. Но всей правды мы до сих пор не знаем и каемся из рук вон худо.

За полями дорога приводит в светлый молодой сосновый бор. Бор небольшой, и проходим его за пять минут. Потом берёзовая роща. Роща весёленькая, трепещет на ветру блестящими листочками, растянувшись вширь вдоль болота, как бы окружая, отделяя болото от твёрдой земли. И вот здесь, в самом начале болота — чудо из чудес: озерко! Удивительно: верховое болото, угрюмый мох, а на краю на редкость прозрачная линза воды! Стоишь на самом краешке, а под ногами уходит на два метра прозрачное водяное пространство. Видишь листочки на дне, каких-то деловитых козявок — абсолютная, нереальная прозрачность!

От озера до нашего покоса ходу всего пять минут...

Мы с женой делим покос на две неравные половины: поменьше ей, побольше мне. Она покрывает голову чистым белым платком — старая защита деревенских косарей от комаров и мошек. И вот уже смотрю, машет материнной «шестёркой» как заправский косарь. Вот что значит деревенская закваска!

До обеда с покосом закончили, затеплили костерок, сварили чай, пообедали, запив бутерброды полубутылкой вина. И вижу я, совсем настроение жены испортилось. Лежит, смотрит в небо отсутствующим взглядом и молчит. Спрашиваю: «Устала? Полежи, отдохни, я сам сейчас валы разбросаю». Молчит. Снова спрашиваю: «Устала?» — «Отстань!» — отвечает зло. Ничего не понимаю. Как тут жить с женским существом нормальному человеку, неясно мне.

И только потом, когда сено немного подсушили, собрали на ночь в валы и собрались домой, слышу, жена шипит тихо за спиной: припёрлась, мол, пальцем за день не тронул... И тут сообразил я свой промах. Подошли к озерку. «Давай помоемся, — предлагаю. — Легче идти будет». И только сняла кофточку, обхватил её поперёк, забросил в воду и сам прыгнул следом. А потом на горячем, твёрдом и пахучем мху мы сделали всё, за чем, оказывается, молодые жёны идут на сенокосные муки.

— Какой хороший был день сегодня! — говорила она, распластанная, счастливым голосом. — И ведь не устала совсем! Какой длинный и хороший день...

И тут же:

— А ты зачем мои грабли взял?

— Ты же сказала, не пойдёшь завтра сено сушить. Я сам.

— Не могла я такого говорить. Не придумывай. Отнеси мои грабли назад и спрячь. Я обязательно приду с тобой завтра.

И назавтра целый день мы сушили сено, валялись на мху и ходили купаться к озерку после того, как в очередной раз исполняли древний человеческий обряд счастья.

2011 год, зима. Город

Позвонил Николай: есть две новости — хорошая и плохая. Давай, говорю, начни с плохой, как-то попривычнее будет.

— Коллеги твои — суки, — сказал он прямо.

Пока я соображал, к чему такой пассаж, он продолжил.

— Нормальному человеку, хорошему работнику жизни от них не стало, собак подзаборных, нищевродов.

Я насторожился: кого из писателей он имеет в виду? Я ведь тоже в некотором роде отношусь к этому классу. С точки зрения Николая и его коллег по партии, почти нищеврод.

— Да не писатели ваши, а журналисты, — уточнил мой друг. Оказывается, кто-то из журналистов, а теперь некоторых из них так именовать нельзя, поскольку они блогеры, подловил главного партийного секретаря. Со знакомой мне по визиту в штаб ангелоподобной секретаршей он поздно вечером посетил на окраине ресторан, а потом отвёз её на явочную квартиру («и адрес разгласили, гады!» — не удержался Николай), где они пробыли полтора часа. «У них и явочные квартиры есть, — подумал я с уважением. — Как далеко шагнули от шалаша в Разливе в современном партстроительстве». Потом главный секретарь доставил неглавную секретаршу домой к мужу.

— Может, они дела обсуждали, — кипятился Николай — может, работали с документами, а

твои расписали про интим, морали развели. Они что, свечку держали?

— Теперь, — говорю Коле, — давай про хорошую новость. Я хоть не блогер, но тут даже мне, старому и местами больному литератору, многое ясно.

— Что тебе ясно? Ты тоже так думаешь? Все вы... А мы от нашего отделения составили заявление в суд. Юрист заставит извиняться. Совсем обнаглели журналюги, не думают о людях. Секретарша уже три дня на работу не выходит и трубку не берёт. Девки в штабе говорят, муж на сайте прочитал и фингал ей поставил, вот она и стесняется. А в штабе дел полный завал.

Я с Колей полностью солидаризовался относительно фингала. На таком лице фингал мне кажется неуместен. Лично я бы её просто убил. Но я из другого, недостаточно толерантного поколения.

Хорошей новостью оказалось назначение Николая на место главного секретаря партийного отделения.

— Поздравляю, — говорю, — Коля!

— Да, спасибо, — ответил он почему-то кисло. — Нужно показать работу, чтоб Москва увидела мой потенциал. Тогда двинуться и повыше можно. Давай вступай к нам. Ты персона раскрученная, всем известный и уважаемый человек. За тобой потянутся. И сборник сразу издадим. Знаешь, как красиво выйдет: слева твоё имя, а справа эмблема партии в цветах Государственного флага. А? Красота!

— Не, — говорю, — не могу. Времени у меня нет ещё и сборник на митингах отрабатывать. Да и болею я.

— Ну, смотри, — ответил мой друг Николай. — Подумай. У нас ресурсы есть. Если что — обращайся.

Сегодня читаю письма Полякова к жене Шуре, то есть к моей маме. На конвертах один и тот же год — 1932-й. Письма потерявшего опору, уставшего, сломленного человека.

«Милая моя жена Шура!

...Я не знаю, для чего существую. Всё, к чему стремился, к чему готовился, изломано чужой злой волею. Нет справедливости, чести, нет самого воздуха, чтобы свободно дышать и разви-

ваться. Утрачена последняя надежда... Всюду несправедливость, зло, насилие над личностью...

Мало того, я сам, своими знаниями, опытом специалиста помогаю укреплять этот режим... Ты пойми, любимая, я сам созидаю тюрьму не только себе, но тысячам таких, как я, русских людей... Я не понимаю, почему Господь попускает это для меня и для всех нас? Разве Он не видит того, что вижу я каждый день? А если видит, почему терпит?»

И так далее в различных вариантах...

Теперь я знаю, почему мама сорвалась в лагерь, так настойчиво искала Полякова, почему, наконец, осталась на Канале. И отчаяние её при том коротком разговоре в детстве мне понятно. Она хотела помочь Полякову вновь почувствовать себя личностью, человеком, пусть и заключённым в лагерь. Мама поняла тогда, что он гибнет, и гибнет не физически, но разрушается духовно, что ещё страшнее. Она хотела вселить в него надежду, поняла, что его нужно спасать. И спасти не смогла. Что может быть ужаснее для любящего сердца...

Все три письма были примерно об одном. От них веяло гибелью души. По некоторым приметам и оговоркам в тексте можно догадаться, что писаны они в Повенце. И только одно, последнее, из Хижозера. Поляков извещал, что «днями произошло неприятное событие» и теми же «грязными руками» на него и коллегу возводится «новая несправедливость» и что его заслуги перед государством никак не ценятся, но напротив — зачастую ставятся в вину неграмотными, примитивными людьми, облечёнными властью.

Тут же устало сообщает, что изнемог бороться с ветряными мельницами и ни на что более не надеется. И ещё я отметил важное. Если из Повенца он ещё звал маму, нервно просил бросить всё и приехать, подчёркивая при этом, что не знает, где окажется завтра, здесь или в ином месте громадной стройки, то в письме из Хижозера такого зова уже не было.

От писем веяло крайней усталостью. Судя по всему, именно в этот момент нашли друг друга два изломанных, изуверившихся в справедливости и правде сердца.

2011 год, зима. Город

Плохо чувствую себя. Видно, грядёт ко мне новая неведомая напасть. Не могу молиться. Утром и вечером правило идёт сухо. Читаешь и не чувствуешь отклика в сердце, просто бубнишь, и всё. Редко, очень редко загорится на секунду тёплый огонёк в сердце и тут же погаснет. И долго потом чувствуешь тепло этого огонька. А среди дня остановишься, прислушаешься, но нет уже его, погас. Иногда такое отчаяние накатит и хочется крикнуть с плахи, как сын Тараса Бульбы, гоголевский казак Остап: «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» И услышать в ответ ободряющее: «Слышу!»

Не выдержал, пошёл в церковь к батюшке. Батюшка давний знакомый, до застенчивости мягкий и рассудительный.

— Значит, бывают минуты сердечной молитвы? — повторил он. — Огонёк загорается? Так что вы ещё хотите?

Он помолчал, видимо решая про себя, говорить или нет, и добавил сокрушённым голосом:

— А вот у меня такого огонька никогда не бывает.

Я поразился: он служит в храме с тех пор, как из армии вернулся, священнодействует в алтаре второй десяток лет и, получается, сердечной молитвы не испытал! Но ничего я не сказал, промолчал, догадался, ведь так он приободрил меня своим признанием, утешил. Мы помолчали вместе, а потом батюшка мягко сказал:

— Только вы должны понимать, что ваше ожидание ответа само по себе греховно. Это признак маловерия, мало того, дерзостной претензии к Богу. Мол, я стараюсь, молюсь, вычитываю правила, а Ты не слышишь, не даёшь знака одобрения. Грех это!

В храме после службы тихо. Только чувствуешь, что от недавнего многолюдия воздух плотный, густой, и слышно, как потрескивает свечка, что догорает перед праздничной иконой.

— Мы же знаем, что Господь всё слышит, всё видит и обо всём знает, — тихо добавляет батюшка. — И если посчитает необходимым для нашего укрепления, найдёт способ показать. Только нужно быть чутким к Его знакам. Человек слаб. Сказано — трость, ветром колеблемая.

Наше дело правильно жить, молиться, надеяться на Господа и верить в его любовь. И больше от нас Он ничего не ждёт.

Я вышел на улицу. Ночью был большой снегопад. Город буквально завалило снегом. Машины выгребли с дорог на тротуары громадные валы, и при ходьбе ощущение такое, будто идёшь вдоль крепостного вала. Там, по другую сторону, бесконечной чередой течёт куда-то жизнь, ревут машины, а здесь поскрипывает под ногой снежок, искрятся в морозном кружеве заметённые балконы домов. Я думал о батюшке, его словах и понял: Господь не разжигает в его сердце огонька потому, что он и без того крепок в вере. А вот в моей вере сомневается и оттого вынужден изредка подогревать её. С точки зрения богословия, конечно, самодельная это теория, глуповатая. Но другой у меня, грешного, пока нет.

1932 год, декабрь.**Хижозеро. Тобольцева и Поляков**

Штабной барак на окраине лагпункта совсем крошечный, с большой комнатой в центре и двумя небольшими комнатками, скорее чуланчиками-клетушками, на обе стороны. Большая комната — прорабская, здесь стол посредине, печь-бочка, но меньше, чем в жилых бараках, скамьи вдоль стен, полки с какими-то бумагами и чертежами.

В прорабской проходят планёрки, наряды, разборки, и разговор иногда громкий, с использованием ненормативной лексики и принятого в лагере особого языка. Правда, старший прораб Тобольцева не разрешает курить, и это обстоятельство вызывает особое неудовольствие у бригадиров и нарядчиков. Одну из клетушек разгрузили для откомандированного из управления инженера Полякова, поставили железную кровать, выдали матрац и дефицитное бельё. Клетушка на противоположном конце штабного барака принадлежит Тобольцевой.

В первый же вечер Поляков и Тобольцева едва не поссорились. В разговоре о ситуации с протечками на плотине и подпитыванием водой земляного тела перемычки снизу из Салмозера Поляков твёрдо заявил:

— Наталья Евгеньевна, давайте условимся вот о

чём. Есть неоспоримые для всякого инженера вещи, как то: Земля имеет форму шара; на Земле действует закон гравитации, так называемое земное притяжение; согласно этому закону вода всегда стекает вниз, но никак не течёт вверх. Если мы с вами на этом сойдёмся, то станем работать над проблемой дальше. Если не сойдёмся, значит, кто-то из нас плохо проходил институтский курс и совместной работы не получится.

Тобольцева вспыхнула:

— Не следует ли из вашего суждения, Юрий Петрович, что я негодный инженер?

— Не следует, — сказал Поляков. — Но в начале дела я хотел бы договориться о правилах. Одни ли они для вас и для меня. Я внимательно прочитал ваши письма в управление, и у меня возникли некоторые сомнения.

— Давайте оставим мои письма. Да, некоторые из них я писала сторяча, даже в некотором отчаянии. И вы должны меня понять. Я одна здесь и не имею возможности не то что посоветоваться, но даже поделиться затруднениями.

— Хорошо, — сказал Поляков. — Думаю, мы условились. Но ведущий в решении проблемы — вы, а я только ведомый.

Как они работали и с чем столкнулись, в папке Агеева есть подробные документы, откуда только он их добыл. Акты сдачи и приёмки, докладные, исполненные точных данных о притоках воды в тело дамбы через колодец такой-то и колодец такой-то, графики откачки воды и работы смен. Бесчисленные колонки цифр, даты, время...

Теперь все их дни и ночи были наполнены бегом, постоянным ощущением опасности и непрерывной работой. И только поздно вечером они возвращались в штабной барак мокрые и донельзя усталые.

— Как я ненавижу эту воду! — говорила Тобольцева, развешивая у горячей печи ставший жестяным от воды плащ. — Как я её ненавижу!

Они пили чай, раскладывали на столе таблицы измерений и вновь и вновь сличали показатели фильтрации в колодцах, установленных в разных частях дамбы: вчера было столько, сегодня здесь меньше, а тут прибавка... Откуда? Почему? Чем это чревато и что делать?

И мало-помалу их поздние беседы стали приобретать иной характер. Наверное, так и долж-

но было случиться, если два человека заняты одним важным делом, если ощущают друг в друге не только помощника, но и душевное участие и заботу.

— Что же ваш муж не устроит вам перевод в управление? — спросил как-то Поляков. — Я бы в подобном положении нашел выход, чтоб видеться чаще.

— Такое предложение было, — ответила после некоторого раздумья Тобольцева. — Отклонила я сама.

Поляков понял, что дальнейшие расспросы могут показаться бестактными, и промолчал.

— А ваша жена, извините? — спросила Тобольцева. — Она не пошла по статье за недоносительство?

— Бог миловал. Но я пишу, чтоб она приехала. Очень хочу видеть. Она сильная женщина, а я, кажется, совсем сдаю. Я очень устал и потерялся.

— Мой гражданский муж ни разу не навестил меня на Лубянке. Не объявился, не передал ни одной передачи, — после долгой паузы тихо сказала Тобольцева.

Поляков понял, ей тяжело говорить об этом. Вероятно, она восприняла отчуждение мужчины в трудный для неё период не как обычную для людей в подобной ситуации осторожность или даже извинительную трусость, но как предательство. И это означало крах надежд и планов на будущую семью.

— Он рассчитывал пересидеть тихонечко то, что пересидеть никому ещё не удалось. И я перестала его уважать. Вот и всё.

В тот вечер, усталые и поникшие, они до полуночи просидели возле горячей печи-бочки и, кажется, поняли друг друга больше, чем можно было бы понять за время многочасовых бесед. Следующим вечером Тобольцева была особенно молчалива. Завершив подсчёты, она равнодушно бросила бумаги с колонками таблиц на полку, молча взяла Полякова за руку и повела в свою каморку.

— Наталья Евгеньевна, мы... — хотел было сказать что-то Поляков. Но Тобольцева недослушала.

— Молчи, — сказала коротко.

Поляков познакомился с уполномоченным через неделю после начала работы в Хижозере.

Уполномоченный прискакал верхом, молодежато спрыгнул с седла, по-хозяйски, не спеша привязал поводья к ближайшему дереву и попросил Полякова представиться.

— Где расквартировались?

Поляков ответил.

— Ну, ну, — угрюмо прокомментировал уполномоченный. — Тут за вами драка числится. Некоторым образом превышение власти. Я бы не советовал впредь. Органы всё видят и всё знают. Ни драки, ни разные там шуры-муры вам с рук не сойдут. Не забывайте, кто вы.

«О чём это он, — озадаченно подумал Поляков. — И какое его собачье дело до моей жизни, в конце-то концов».

Энкаведешник стал появляться на Хижозере каждую неделю. Он выгонял из-за бригадирской выгородки в бараке лишних и выслушивал доклады стукачей, щедро угощая их папиросами. Затем, обогащённый знаниями о жизни лагпункта, зачастую надуманными, приукрашенными в расчёте на лишнюю папироску, шёл к старшему прорабу Тобольцевой, вручал гостинцы с большой земли, долго пил чай, сыпал полупамёками на якобы промахи в работе и говорил покровительственно. Правда, руки не распускал, помня, чем закончилось однажды подобное с каким-то шустрым техником во время посещения стройки комиссией из управления.

Тобольцевой посещения уполномоченного не нравились. И она не старалась скрыть этого. Подарки, — чаще всего это были чай в красивой упаковке из спецмагазина в Повенце и конфеты, она оставляла на столе до очередной планёрки. Намёрзнувшие на дамбе бригадиры сметали их со стола в несколько минут.

Ей было жалко времени. Она ёрзала, поминутно поглядывала за окно, где понурые лошади чередой тянули телеги-грабарки с песком из карьера на дальний край километровой дамбы, и ждала, когда же он уйдёт. И однажды не сдержалась.

— Ваша задача помогать нам, инженерно-техническим работникам, выполнять порученное задание, а вы только мешааете, — сказала она уполномоченному. — У меня нет времени на вас. И вынуждена буду поставить вопрос в управлении.

— А-а-а, — взвился уполномоченный. — На ме-

ня времени нет, зато на залётного инженеришку время есть. Знаю, знаю, чем вы тут занимаетесь! Учти: даром тебе это не пройдёт! И он поплатится. Новый срок получите, это я обещаю.

С тех пор ухаживания прекратились, он приезжать перестал, но теперь, в самый критический момент, вдруг объявился. Будто чувствовал. Или знал?

Примерно месяц, с середины ноября до середины декабря, понадобилось им, чтобы определить, откуда исходит угроза дамбе и водоспуску. Тобольцева и Поляков обнаружили трещиноватую скалу, которая, словно насос, принимала воду сверху, из Хижозера, прогоняла её вниз, к самой подошве дамбы, и снова поднимала вверх, пропитывая и доводя песок до полужидкого, текучего состояния. И чем выше накапливалась вода в водохранилище, тем сильнее становилось давление в скальных трещинах и тем больший объём воды смачивал дамбу, превращая её в ненадёжную зыбкую конструкцию.

Обнаружив причину, Тобольцева объявила аврал. Весь лагерь вышел на цементацию скальных трещин и укрепление дамбы в этом районе. И проблема была решена. А следующей же ночью, в страшный декабрьский шторм, с дождём и волнами, хлещущими о самый гребень дамбы, произошёл прорыв. Переполненное выше берегов, до самого леса, Хижозеро бросилось вниз, к Водоразделу, сметая всё на своём пути...

— Почему это произошло именно теперь? — спрашивала Тобольцева хрипловатым со сна голосом полуодетого, в одном сапоге, Полякова. Поляков нервничал, торопливо разжигал керосиновый фонарь, и у него ничего не получалось.

— Дайте мне! — приказала Тобольцева. Фонарь в её руках пыхнул грязным, прогорклым дымом плохого керосина и тускло засветился.

— Работа выполнена качественно. Кроме того, я потребовала поставить на дамбу постоянный караул из трёх бойцов. Этого никак не могло произойти...

И первым, кого они увидели на дамбе в прыгающем свете фонаря, оказался уполномоченный НКВД. Отвернувшись от ветра, он стоял в стороне от несущегося вниз грязного потока, улыбался и курил.

2011 год, декабрь. Город

Не понимаю, отчего я стал так популярен. Звонят телевизионщики и газетчики, пишут что-то блогеры в своих блогах. Вчера прилетела девчужка с микрофоном, пересаживала меня то сюда, то в другое место. Потом решила посадить на фоне книжных полок, мол, писатель должен выглядеть мудрым.

Выглядеть мудрым у меня не получается, какая-то дурашливость в лице, и руками размахиваю. Девчужка предложила повязать галстук и надеть пиджак. У неё, оказывается, опыт: человек в галстуке и пиджаке выглядит торжественно, именно так, как надо. Надел галстук и пиджак, и вышло, как ей показалось, неплохо. Правда, сам потом не смог вспомнить, что говорил. Но это не важно, главное — выглядел.

Оказывается, вышла моя книга. Сообщил мне об этом застенчивый юноша с диктофоном от какого-то интернет-портала. В советские времена писатель узнавал о выходе новой книги от бухгалтера в издательстве. Потом подписывал сигнальный экземпляр, и ему вручали десять так называемых авторских экземпляров. Чтоб погордиться и подарить счастливым родственникам.

Взволнованный событием, я подсчитал, что за последние пять лет в свободной от коммунистической диктатуры России вышли семь моих книг. И ни разу ни один бухгалтер не обрадовал меня звонком с просьбой подойти за гонораром. Хотя в пересчёте авторских листов на ставку по тарифной сетке застойного времени я должен был получить гонорар, которого хватило бы на 7 (семь!) новеньких автомобилей «Жигули».

Юноша с диктофоном удивил меня тем, что, как оказалось, очень мало знает о советской, российской литературе и совсем ничего не знает о местной, как принято теперь говорить, региональной. «Ладно, — подумал я, — все когда-то начинают с нуля. Сам-то писать в газету начал, окончив вечернюю школу, электромонтером. И много ли знал».

Но я ошибся. Паренёк окончил филфак университета! «Ого, — подумал я, немало удивлённый. — Кого же они там проходят? Сумрачных немецких гениев и быстрых умом иных иностранцев?» При этом университет входит в топ-50

лучших учебных заведений Европы. Видно, и в образовании либеральное крыло проводит известную линию, когда всё, что у нас худо, преподносится в качестве успеха и всячески поощряется рейтингами, грантами, премиями и проч. Это так называемая политика стимулирования упадка, подталкивание к кризису. И как это всё преодолевать, мне неизвестно.

Шумиха с вопросами, как начинал, чем занят теперь и какие планы на перспективу, сошла на нет за одну неделю. Впрочем, так бывает всегда. В советское время, о котором приходится иногда вспоминать, поскольку я старей, после первой информационной волны писатель начинал ждать серьёзную критику. Вначале по газетным полосам, потом полотнонами в журналах всезнайки критики разбирали и книгу, и автора по винтику.

Заодно с новой книгой иногда перепадало и за старые. Среди литераторов нет более памятных авторов, чем критики. Даже публицисты не годятся им в подмётки. Автор только подумал о чём-то в книге десятилетней давности, а критик уже знает, он не забыл, и вставит писателю в завтрашнем обзоре как за сделанное.

Однако так было давно. Теперь критики нет. Остались либо просто информация в два абзаца, либо комплименты на две-три журнальных колонки, либо, что бывает чаще, злобная и несправедливая заметка в каком-нибудь блоге. Но мы привыкли не обращать на них внимания настолько, насколько хватает душевной крепости. Поскольку цель блогера — популярность, количество подписчиков и, следовательно, скандал, обещающий приток рекламы, то есть банальная «рубка капусты». Блогеру на тенденции развития литературы и психическое здоровье литераторов глубоко наплевать.

...Видно, разбередили меня вопросами о прошлом. Сегодня всю ночь снился отец. Вот я совсем маленький, вхожу в дом, и прямо передо мной, на гвозде в перегородке, отделяющей кухню от комнаты, висит громадная щука. Ростом щука выше меня, и, чтоб посмотреть на её голову, приходится глядеть вверх. За перегородкой оживлённый шум и звяканье стаканов. Мужики обмывают улов...

Рыбы у 17-го шлюза в 50-60-е годы была нас-

тоящая пропасть. От моста к острову, невидимая с поверхности, шла длинная и мелкая луда. Судовой ход прокопали параллельно руслу речки Шижня, и перемычка между ними размылась, превратилась в луду. Вода во время шлюзования свободно перекачивалась из Канала в реку и обратно. Вдоль луды отец ставил перемёт. Я того времени не застал, но отец рассказывал, что в конце сороковых — начале пятидесятых громадных налимов даже не брали, вырезали самое лакомое — печень, а остальное выбрасывали за борт.

Помню, однажды летом мы, поселковые ребята, услышали выстрелы и помчались на шлюз. Выстрелы часового — редкость чрезвычайная! Что это — нападение на особо охраняемый объект? Шпионы с диверсантами?! Оказалось, часового в заливчике возле старой бани застрелил из винтовки громадную — 12 килограммов — шуку! Через два дня в том же заливчике застрелил другую, теперь 10 килограммов. Я ходил потом с удочкой в этот заливчик неделю, с ужасом глядел на поплавок: а ну как цапнет такая, что делать буду! Утянет вместе с сандалиями.

...Едем с отцом на рыбалку с неводом. Это называлось «затягивать». Говорили так: поедem, затянем. Или: затянули три раза, полтаза подлещиков привезли... Отец сидит на корме, я на вёслах, брата оставляем на берегу, у него конец верёвки, привязанной к одному крылу невода. Другой конец пока в лодке. Отец выпускает невод, расправляет его одной рукой. Теперь нужно направить лодку полукругом к берегу таким образом, чтобы выметать его целиком, да так, чтобы конец другой веревки достал до берега. Если ошибся и верёвки не хватит, придётся прыгать в воду. Выходим из лодки и медленно вытягиваем невод на берег. Невод сужается, рыба в нём начинает метаться, нырять под верёвки, отец ругается, велит не зевать и крепче хлопать верёвками по воде, не пускать... Появляется кутовой мешок. Он бурлит, полный рыбы. Заводим его к берегу и рывком выбрасываем на траву. Вся прибрежная трава в серебре, волнуется, трепещет...

...Сенокос. Идём с отцом на дальний покос. Покос называется «за теплицей». Во время существования лагеря здесь располагалось боль-

шое тепличное хозяйство: ровные траншеи, остатки рам, горы битого стекла. Наш покос — две поляны, расчищенные отцом и матерью на кромке леса. Трава густая, невероятный запах, настоящий одновременно на лесе и травах, душно, рой комаров слепит глаза.

Отец подводит меня к небольшому холмику-кочке посреди полянки. На холмике яркие ягодки земляники. «Ешь, — говорит мне. — Здесь самая сладкая ягода. Нигде больше такой нет». Я срываю лесные ягодки — вкуснотища!

Когда отец уходил за теплицу и пытался косить один, он всегда приносил мне земляничку с этого холмика. Говорил: «На, это тебе кукушка прислала». Сейчас думаю, а как он косил, с одной-то рукой? Как сушил сено, грузил на телегу или волокушу и привозил в посёлок к сараю? Ясно, мама помогала. Но главную-то работу делал он. И ещё думаю — а я бы смог?

Наконец-то стихла возня вокруг новой книги. Больше не звонят, не задают вопросов, не хвалят и не ругают. Красота! И со здоровьем вроде бы немного наладилось: не болит в животе, нет температуры и голова более-менее ясная. Можно думать о работе дальше. С душевным трепетом беру в руки пакет Агеева. В нём немного документов и записка.

«Дорогой Тихон Дмитриевич!

Сердечно прошу прощения за долгую задержку! Как исследователь, вполне понимаю Ваше нетерпение и, может быть, некоторый даже ропот относительно моей нерасторопности. Извините меня! Однако думаю, Вы поймёте причины произошедшего.

Вначале мой товарищ, которому я поручил работу, занемог и около полугода провалялся в госпитале, потом на больничной койке оказался я сам. Признаюсь, хвороба привязалась так крепко, что я и не чаял выбраться. Однако Бог миловал, и я снова дома. Работу в архиве пришлось оставить. Теперь регулярно хожу по докторам и выслушиваю советы, как мне жить дальше.

Вот с такими препонами пришлось столкнуться в нынешнем, не очень благоприятном к нам году. Тем не менее обещанное я выполнил. Материалов не так много — архивы в из-

вестное время были подчищены, я бы сказал, немного подрумянены. И этот недостойный власти процесс подрумянивания нашей общей истории, подчас, как Вы сами знаете, не очень красивой, к моему великому сожалению, продолжается. А к некоторым материалам допуск вообще закрыт. Но Вы опытный документалист. Вам и этого материала доставит, чтобы, опираясь на него, сделать верные выводы. Желая Вам успеха! С пожеланием здоровья кланяюсь. Агеев».

В пакете под письмом Агеева нахожу небольшой конверт с фотографиями. Открываю, и на стол падают три небольших, смятых по углам карточки. Видно, их долго носили в кармане или в полевой сумке. Беру в руки верхнюю, и в глазах темнеет: да это же дядя Гриша Козырев! Молодой, чёрное кожаное пальто, фуражка со звездой, прямой жёсткий взгляд и в руках палочка. Палочка придаёт снимку некий игривый, кокетливый характер. Позади Козырева, фоном, видится котлован, в котором копошатся десятки людей. На обороте надпись: «Уполномоченный НКВД по южному участку строительства ББВП тов. Козырев. 1932».

Второе фото, вероятно, с документа: гимнастёрка, петлицы, португеза; из-под нижнего обреза карточки торчит угол кобуры. И всё тот же холодный, жёсткий взгляд.

Третье фото страшно взять в руки. Здесь Козырев не один. Редкий молодой сосновый лесок в шапках свежего снега. Трое чекистов в шинелях курят возле кучи песка из ямы. В песок воткнуты лопаты, а яма открыта. Вероятно, это могила. Рядом Козырев. Из-под шапки бежит край повязки, а на лице странное выражение, одновременно будто бы виноватое и при этом довольное. В опущенной руке наган. На краю ямы что-то валяется. Присмотревшись, можно угадать обувь, то ли мужской полуботинок, то ли женская туфля...

Нет, документы читать не могу — в глазах темно. Будто воздух из меня выпустили. На ватных ногах бреду на кухню — там, в дальнем шкафу, у меня заначка. Наливаю полстакана, выпиваю залпом и совсем ничего не чувствую: водка пролетает как вода. В мозгу стучит молоточком: значит, добился своего, расправился. Сам! И

как же это ему удалось? Выливаю в стакан остатки, но легче не становится. Я ведь его знал, разговаривал с ним! Он ведь считался уважаемым человеком! Перед детьми выступал. А орден?! Откуда у него ордена? За что?!!

К вечеру снова занедужило. Места себе не найду, да и снова заболело что-то внизу живота. Давит и жжёт, давит и жжёт. Выпил горсть таблеток активированного угля, и вроде полегчало. Болеть мне нельзя. Нужно срочно заканчивать обещанный издательству текст. С утра собираю в горсть оставшиеся таблетки активированного угля и усаживаю себя за стол.

Среди документов нахожу разрозненные листы «дела» Тобольцевой и Полякова. Протокол допроса с объяснениями, в котором ни он, ни она не признают себя виновными. Обвинения более чем серьёзны: «Создание группы для проведения крупной диверсии...», «преступная халатность, повлекшая крупную аварию на строительстве...» Листы с доносами, написанные явно под диктовку: «...редко показывались на производстве», «вовсю крутили любовь», традиционное «плохо относились к простым з/к з/к...» и прочее, и прочее.

Но что за группа? В чём причины аварии? Тобольцева поясняет: гребень дамбы был с вечера хорошо укреплен тремя рядами мешков с песком. Для контроля за поведением воды на ночь выставлен караул из трёх бойцов охраны. Никаких сигналов тревоги они не подавали. Подобный прорыв был невозможен...

Оказывается, вот эти трое ночных охранников плюс Поляков и составляли преступную группу, тайной целью которой было: «диверсия на Хижозерском водохранилище, срыв сроков строительства ББВП и нанесение материального ущерба государству». Ни много ни мало. Якобы нанятые («завербованные») Тобольцевой охранники ночью сбросили с дамбы два ряда мешков с песком, образовалась протечка, превратившаяся в проток и размывшая дамбу. После этого все трое ушли в побег. Однако Козырев утром оперативно и умело организовал погоню, беглецы были настигнуты и застрелены при попытке вооруженного сопротивления. Сложилась привычная схема: заключённые инженеры-вредители Тобольцева и Поляков — заговорщики и вредители, чекист Козырев —

умелый и прозорливый оперативный работник, одним словом, герой...

Немножко остыл, схлынуло возбуждение от неожиданного и более чем неприятного открытия, и будто бы другими глазами перечитываю документы. И удивляюсь, а читали ли их те, кто выносил приговор? Держали ли их в руках судьи? Изучал ли документы прокурор, утверждавший приговор? И с горечью убеждаюсь: не читали. Либо читали, но не смогли «принять во внимание».

Вот листок из протокола допроса начальника караула: тройку бойцов для ночного дежурства с вечера отбирал... сам Козырев. И он же их инспектировал. Вот письмо в адрес начальника лагеря (очень смелый, почти безрассудный участник утренней погони!): все трое заговорщиков никуда не убежали. Козырев с группой преследования застал их в полукилометре от Хижозера сидящими на привале. Мало того, при виде погони они встали и криками обозначили своё присутствие — «как будто ждали нас». Более того, никто из них и не собирался отстреливаться. Хотя Козырев, «к удивлению», приказал открыть огонь на поражение, и им пришлось «стрельнуть своих товарищей».

Липа, липа, привычная липа...

И не удивляют карандашные резолюции на свидетельствах тех, кто оказался излишне догадлив: «Снять с охраны и перевести на общие работы!», «Отменить зачёты рабочих дней за 1932 год и перевести в Телекино на ручное бурение...»

Однако не все поверили в липу Козырева. Вот листок с запиской начальника Управления ББЛага С. Фирина.

Адрес: Москва, Лубянка:

«Направляю в Ваше распоряжение двух арестованных, проходящих по делу о диверсии на Хижозерском водохранилище. Это дело ставилось на В/С К ОГПУ под председательством зам. ПП ОГПУ в ЛВО т. Запорожца, которая сочла необходимым применить высшую меру социальной защиты — расстрел к Тобольцевой и 5 лет Полякову. Мною это дело было снято как подлежащее направлению в Москву».

Фирин не поверил. Не поверили и Фирину. Дело вернули в Повенец.

1932 год, декабрь. Повенец, Поляков

Уже из первых допросов Юрий Петрович Поляков понял, что «вышку» ему не дадут, ограничатся добавкой срока года на три. На Хижозере он не был главным. Решения принимал прораб, он только советчик-консультант, рядовой участник выдуманной «банды вредителей». Понимала это и Тобольцева. В последнем ночном разговоре ещё там, в тесной прорабской комнатке, она прятала лицо у него на шее, плакала и злилась на себя за слёзы, ругалась сквозь зубы на эту «подлую бабью слабость» лить слёзы «по любому пустяку». Потом неожиданно замолкала и, глядя прямо в глаза, просила жёстким, требовательным голосом: «Не забудешь, а? Скажи, не забудешь?» Он поднимал руки, обхватывал её голову и, сильно прижимая к себе, шептал в лицо: «Я с тобой пойду. До конца. Вместе...»

— Тебя не тронут, я знаю, — шептала она, — добавят срок и отправят подальше на Север. Вот и всё.

— Может быть. Но я сделаю так, чтоб вместе, — говорил он уверенно, как о решённом. — Я здесь не останусь один.

— Дурачок, — уговаривала она, легонько поглаживая пальцами по лбу. — Нужно, чтоб кто-то остался, чтоб помнил, чтоб молился. И вдруг жена приедет, заживёте вместе, и меня забудешь.

Говорила и ненавидела себя за эти слова. И снова начинала плакать...

Но Поляков уже всё для себя решил и отступить был не намерен.

На третий день Поляков обнаружил в тесной комнатке для допросов не следователя, молодого, грузноватого чекиста, которому не давала покоя кобура с наганом; во время допросов он поминутно сдвигал её по ремню то ближе к животу, то и вовсе задвигал за спину. Полякову хотелось сказать, да сними ты её совсем, коли не привык, чего мучаешься! Сегодня за столом следователя сидел главный инженер Хрусталёв.

— Здравствуйте, Юрий Петрович, — сказал Хрусталёв, но руки не подал.

«Бережется, — подумал Поляков. — Мало ли

что подумают. Здесь ведь за рукопожатие в преступную группу включают и недорого возьмут. Тем более все мы тут битые, уже прошли этот путь».

— Добрый день, Николай Устинович, — ответил Поляков. — Никак не ожидал вас увидеть.

— Да и я, признаться, не рассчитывал на беседу в подобном антураже, — тихо и с некоторой горечью ответил Хрусталёв, жестом обводя стены и потолок. — Мы вас ждали с докладом в управлении, надеялись услышать кое-что важное по проблемам Хижозера, а тут такое. Пришлось просить Фирина, чтоб разрешил поговорить с вами здесь.

Лицо главного инженера выражало давнюю, накопившуюся усталость: веки набухли, под глазами мешки. «Не высыпается, — подумал Поляков. — Всё управление гонят и гонят. Жмут сроки. Сутками на работе».

— Да, поговорить есть о чём, — согласился Поляков. — Только никакой пользы от разговоров нет, когда тебе не верят. Как я понимаю, решение относительно меня уже принято. Остались формальности.

— Об этом не знаю, — коротко сказал Хрусталёв. — Об этом мне не докладывают.

«Знает, конечно, — подумал Поляков. — И про уполномоченного знает, и про Тобольцеву. Только поделаться ничего не в силах».

— Про диверсию не верю, сразу скажу. И от Фирина своё мнение не скрыл, — продолжил Хрусталёв. — Чтоб своими руками разрушить то, что создавал, о чём думал днём и ночью, — это какое же сердце нужно иметь? К тому же нас, инженеров, учили строить, а не разрушать. Не верю. Но сиё от нас зависит мало, вы сами знаете.

Главный инженер замолчал. Ему не хотелось развивать скользкую тему. Мало ли на какие выводы она может вывести.

— Все свои доводы на этот счёт мы изложили в письме и направили на имя Бермана в ГУЛАГ. Подождём реакции руководства.

«Не будет никакой реакции, — подумал Поляков. — Не станет Москва разбираться в деле с парой инженеров на каком-то дальнем водохранилище. Дело-то ведь ясней некуда. Авария была? Была. Угроза срыва работ и громадных убытков казне была? Была. И чего тут

городить? Наказать для острастки, чтоб другим неповадно было!»

— Спасибо за доверие, Николай Устинович. Только едва ли соображениям коллег в ГУЛАГе внемлют. Случившееся на водохранилище — хороший повод для бесед в русле воспитательной политики, которую проводит ГУЛАГ.

— Оставим это, — Хрусталёв коротко махнул рукой. — Обсуждать политику НКВД не в наших полномочиях. Мы инженеры. Нас волнуют проблемы строительства. И в этом смысле ваши с прорабом Тобольцевой усилия на Хижозере вызывают острый интерес. На трассе сооружают почти два десятка водоспусков, и мы в руководстве хотели бы знать, с чем можем столкнуться, что ожидать и как локализовать возможные проблемы. Можете рассказать хотя бы вкратце?

— Почему бы вам, Николай Устинович, не послушать Тобольцеву? Она прораб, не я. Она с самого начала планировала, организовывала и контролировала работу.

— К Тобольцевой нас не допускают.

Хрусталёв помолчал, усмехнулся чему-то и продолжил:

— Видимо, опасаются, что вооружим её некими аргументами, которые позволят избежать наказания.

— И меня можете вооружить.

— Как я понял, наказание для вас будет иным.

— Это они так решили, — сказал Поляков. — У меня на этот счёт собственное мнение.

— Какое же? — удивлённо вскинул голову главный инженер. — Что вы задумали? Какое может быть собственное мнение в вашем положении?

— Если Наталья Евгеньевна получит высшую меру, то и я пойду с ней.

— Для чего вам это, Юрий Петрович? Что вы этим сможете доказать? И кому? Это же мальчишество! Впереди громадное количество дел. Идёт индустриализация, преобразование страны. Наши знания и опыт ждут своего применения.

— Всё верно, Николай Устинович. И только поэтому вы с коллегами, получившие сроки заключения, как я понимаю, за придуманную вину, и мы с Тобольцевой пребываем здесь? Я вижу страну, которая, как паровоз, стреми-

тельно устремляется вперёд, а топливом служат её граждане. Именно их тысячами кидают в топку ради некоего грядущего благоденствия. Я не желаю мчаться в будущее на таком паровозе ни в качестве топлива, ни в роли пассажира. Отказываюсь!

Сквозь бревенчатую стену без окон слышен топот десятков ног и брань конвоя. Видно, доставили новый этап и теперь заключённых распределили по участкам и разводят на объекты. За дверью кто-то громко кашляет и сморкается. Бедняга часовой промёрз где-то на посту, простыл и теперь мучается, исходит соплями. Хрусталёв молчит, нервно постукивает толстыми пальцами по столу, опустил голову. Наверное, думает или ждёт чего-то.

— Прощу извинить, товарищ Хрусталёв, — сказал Поляков. — Я не ответил на ваш вопрос относительно ситуации на Хижозере.

Главный инженер поднял голову, всё так же молча кивнул и приготовился слушать. Поляков подумал, что зря назвал главного инженера товарищем. Следовательно бы подобного не стерпел. Но ему понравилось, что Хрусталёв смолчал, значит, решил он, принял. Он рассказал, что отсыпать земляную дамбу, имея основание из иольдиевых глин, или даже вблизи иольдиевого поля, неразумно. И что попытка сэкономить на затратах, упирая оконечности дамбы в скальный массив, в результате оказывается себе дороже. Так и случилось в Хижозере. Трещиноватая скала оказалась тем насосом, который перегонял воду снизу вверх и заставил многократно увеличить трудозатраты и терять время.

Поляков напомнил также, что создание водохранилища путём подпора рек и подтопления нескольких озёр требует особого контроля. Уже к осени следует ожидать всплывания торфяных полей площадью в сотни квадратных метров, которые могут блокировать судовой ход и работу гидросооружений...

В дверь уже дважды заглядывали. Видимо, время, отпущенное для общения, вышло. Хрусталёв продолжал сидеть, тяжёлым взглядом мрачно упёршись в стол. Он никак не комментировал сказанное Поляковым и, казалось, не слушал, а думал о чём-то своём и очень неприятном.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал он, прерывая рассказ Полякова. — Благодарю вас. Ваши соображения, Юрий Петрович, изложу на совещании завтра. Убеждён, они окажутся полезны для строительства.

Он протянул руку Полякову и добавил:

— Очень прошу подумать о принятом решении. Мне оно кажется излишне романтическим, что ли. Повторю, мы нужны, пока мы здесь. Там, — он указал толстым пальцем в потолок. — Какая от нас польза там? Кому мы нужны там?

Поляков возвратился в каморку-камеру, выгороженную с торца комендатуры, и думал о словах Хрусталёва про здесь и там. Он лёг на нары, подсунул под голову старую тужурку и закрыл глаза. «Ничего не знаю про там, но здесь оставаться точно не желаю. Нет здесь просвета и долго не появится», — решил он. И сразу в воображении предстал перед ним маленький, тонкий, — в чём только душа держится, — человек, на которого ему указали на одном из объектов полгода назад, мол, посмотри: монах тут завёлся, святая душа. Имени своего не называет. Полякову стало интересно. Он подошёл:

— Чего же ты, мил человек, не именуешься никак? — спросил человек. — Имя своё позабыл?

— Господь меня знает, — ответил тот тихо. — А ты, гражданин начальник, если хочешь, зови Иваном. Или Петром. Как тебе нравится, так и зови.

— Но ведь родители как-то нарекли. Негоже забывать родительскую волю.

— Сказано: «Оставьте мёртвым хоронить своих мертвецов...» Отец наш Небесный истинный родитель. Его почитаем.

— Я-то ладно: могу Иваном, могу Петром, но начальство тебя накажет, жизни может лишить. Не боишься?

Монашек поднял голову, и Поляков увидел спрятанные под давно немывыми, спутанными волосами кроткие светлые глаза, казалось, источающие тихий свет.

— Кого мне здесь бояться? Я боюсь, как перед Престолом встану. Грехов-то на мне — ой, ой, ой!

И он медленно побрёл в котлован, где гремели кувалдами бурильщики и матерились выкатчики, из последних сил удерживая громадные

тачки на нешироком дощатом настиле. Поляков постарался вспомнить, было ли с ним такое, чего следовало бояться, когда сам окажется там. Но так и не вспомнил, уснул.

**1932 год, конец декабря.
Повенец, Тобольцева – Поляков**

Наталья Евгеньевна Тобольцева решила, что ни в какие поддавки со следствием играть не станет. Тем более не опустится до оправданий и попыток объясниться. На первом же допросе подробно рассказала, что в действительности произошло на дамбе водохранилища, какие меры предприняла для предотвращения последствий и восстановления статус-кво на объекте. Не скрывала и догадки об участии в этом уполномоченного Козырева. На все попытки следователя, чаще всего неуклюжие, сколотить из них преступную группу заговорщиков только смеялась или издевательски их комментировала.

При упоминании Козырева следователь бросил на стол ручку. Перо прочертило извилистую чернильную линию и замерло на краю стола.

— Это клевета на честного чекиста! — выкрикнул следователь. — Вы не имеете никакого права судить о его работе!

— Угу, — согласилась она и ухмыльнулась.

И на все дальнейшие вопросы отвечала односложно: да, нет, угу, или просто смеялась.

— Вы отдаёте себе отчёт, что могло произойти в результате вашей диверсии? — спросил следователь.

— А вы?

— Мог быть разрушен водоспуск на Хижозере, смыта дамба...

— Чепуха! Водоспуск, дамба... Это мелочи. Вода Хижозера переполнила бы водораздел и все гидросооружения до первого шлюза уплыли в Онежское озеро. Да и в сторону Севера мало бы чего осталось. Почти полгода работы всего строительства оказались бы брошены коту под хвост.

— Это государственное преступление!

— Именно поэтому мы трое суток днём и ночью работали, чтобы этого не произошло. А вы тут какой-то убогий списочек преступной группы составляете.

И замолчала. И молчала ещё три дня, пока следователь не вызвал на подмогу опытного чекиста Козырева. Тобольцеву ввели в кабинет, и она неожиданно обнаружила Козырева. Он свободно, по-барски, сидел на стуле поодаль.

— А ты, сволочь, что здесь делаешь? — спросила Тобольцева. И, не дожидаясь ответа, швырнула в него чернильницу со стола следователя. — Вот настоящий враг государства! Вот он — преступник!

...Полякова вывели из камеры-каморки на допрос очень рано, ещё не было и шести утра. Он и так плохо спал, а тут ещё в такую рань... «И чего им неймётся, — думал с неудовольствием. — Спешат, наверно. Москва торопит. Дело с преступной группой на Хижозере нужно срочно завершать и докладывать об очередном успехе НКВД в борьбе с вредителями».

Повенец дремал в предусмотренной дрёме. Улицы занесены свежим снегом и пустынно. С Онежского озера веет лёгким свежим ветерком. Он и сам хотел, чтоб быстрее заканчивалась эта бодяга. Он очень устал.

В полутёмном кабинете с занавешенным окном сидел понурый и такой же невыспавшийся следователь. А в дальнем углу попыхивал папироской Козырев. «Вот и всё, — подумал Поляков. — Имею хороший шанс быстро закончить дело». У него даже настроение поднялось. И когда конвоир усадил его к столу и вышел, Поляков кивнул следователю, чтоб нагнулся поближе, мол, есть что сообщить тет-а-тет. Следователь привстал и перегнулся к нему через стол. Поляков ребром ладони снизу резко ударил его в горло, пересекая сонную артерию. Следователь всем телом обрушился на стол, распластался и замер. Поляков медленно пошёл к Козыреву.

— Ты чего это, Поляков? — с округлившимися мёртвыми глазами лепетал Козырев, привставая с табуретки. — Ты чего, Поляков? Ты... Это не я, не я! Меня заставили...

Пальцы Козырева судорожно царапали кобурку и никак не могли открыть крышку. Наконец наган у него в руке. Поляков коротко ударил Козырева ногой в пах. Тот застонал и упал на стул. Поляков вынул из безвольной руки наган, за волосы поднял его голову и сильно ударил

рукояткой в лоб, попав чуть выше правого глаза. На стену и на пол брызнула кровь, залила гимнастёрку. В коридоре загрохотали сапоги охраны. Поляков повернулся к двери и протянул наган первому, кто вошёл...

...Их привезли в лесок на окраине не вместе. И только там, на краю, дождавшись, он успел крикнуть ей, потерявшейся, бледной и растерянной: «Не бойся! Это ненадолго. Мы скоро встретимся снова...»

В пакете Агеева я обнаружил документ: докладную записку коменданта лагеря, адресованную начальнику лагеря Семёну Фирину. Автор не скрывает своего раздражения. Комендант сообщает, что в 5 часов 30 минут, к моменту, когда приговорённых выводили из камер, в помещение прибыл старший уполномоченный Козырев. Был он, как показалось коменданту, до крайности раздражён и нетрезв. Игнорируя требование инструкции и предупреждение его, коменданта, Козырев проследовал с командой «к месту проведения акции» и без команды «лично сделал четыре выстрела из нагана, сопровождая их нецензурной бранью».

Комендант пишет, что подобное нарушение инструкции приводит «к нервозности бойцов и отрицательно влияет на дисциплину вверенной ему комендатуры». Он просит начальника предупредить оперчеккистский состав лагеря о недопустимости подобного впредь.

Два документа в пакете Агеева проясняют дальнейшую судьбу чекиста Козырева. Первый документ — письмо начальника южного участка строительства Г.Д. Афанасьева, адресованное начальнику ББЛага (он же одновременно и заместитель начальника ГУЛАГа) С. Г. Фирину. Афанасьев просит рассмотреть возможность перевода старшего уполномоченного ОГПУ НКВД Г. Козырева на другой участок работы «в связи с нездоровой обстановкой, сложившейся вокруг его имени в среде инженерно-технических работников». И рапорт самого Козырева, в котором он просит перевести его в особый отдел танковой бригады, формирование которой завершается в Медвежьегорске. Просьбу Козырев мотивировал стремлением «с раннего детства посвятить себя служению

в первых рядах доблестной Красной армии». Размашистая резолюция красным карандашом сверху слева венчает рапорт: «Переводу т. Козырева не препятствовать!»

Я не могу понять, как он жил после этого на 17-м шлюзе? Как смотрел в глаза моей матери? Что думал, сидя в праздники за одним столом с людьми, прошедшими этот ад, и вместе с ними поднимая стакан с водкой? Я не могу понять природы этого человека. И это обстоятельство вгоняет меня в депрессию.

2011 год, декабрь. Город — 17-й шлюз

Я очень устал, просто безумно устал! Повесть закончил, но работал в таком возбуждённом состоянии, что сделал приписку для издательства, чтоб непременно дали вычитать вёрстку. Может, успею что-то поправить. Хочу уехать куда-нибудь, отрешиться от рукописи, от Канала, от своих героев. Не могу я больше жить в том мире зазеркалья.

Издатели ответили быстро: повесть понравилась, будем издавать, через месяц-другой ждите книгу. Просят фото. Делаю сканы и отправляю им все три карточки Г. Козырева и тем увековечиваю в истории не только его имя, но и облик. Заслужил.

Спать совсем не могу. Сны измучили. Всё куда-то пробираюсь, стрельба кругом, грязь, какие-то злые вооружённые люди. Все спешат. Спешу и я. И мне непременно нужно идти куда-то, просто очень необходимо, и я иду, и мне трудно, почти невозможно...

Куда я иду? К кому? Зачем? Я не знаю.

Просыпаюсь среди ночи в растерзанном состоянии, бреду на кухню, долго смотрю в чёрную темень за окном и не могу собрать себя в кучу. Наверное, лучшим выходом было бы уехать на 17-й шлюз. Звоню Олегу Васильевичу, чтобы послал кого-нибудь из работников в мою комнатку протопить печку, и завтра с утра еду, надеясь отлежаться, отдохнуть и отойти от этой истории и от работы вообще.

На 17-м шлюзе всё тот же тихий рай, только теперь в зимнем обрамлении. Ослепительно белая пелена вокруг, цепочки птичьих следов возле крыльца; это ворона заметила нового жильца и теперь бродит в надежде, что вынесут

чего-нибудь подкормиться в холода. Выношу ей хлеб, оставляю на ступеньках.

Ворона недалеко, смотрит с ближайшей ёлки и топчется на ветке, в нетерпении перебирает лапами, ждёт, когда отойду подальше. Она всех тут давно знает и не боится, а я новенький, мало ли что...

Тихо здесь, морозно, дрова потрескивают в печи, и так покойно на душе, что и думать ни о чём не хочется. Так бы и жил. Плюнул бы на город, литературу и на всю эту колготню внешнего мира. Только вот болит в животе, а я в последних сборах забыл на столе таблетки. Рукопись не взял сознательно. Знаю, покоя рукопись не даст. Как бы ни уговаривал себя, а пройдёт день-другой, и в сотый раз начнёшь листать страницы и то тут, то там захочется переписать, поправить, и будешь терзаться: ах, как я не заметил! нет, непременно нужно переписать... И придёт желание звонить в издательство, извиняться, без конца дёргать редактора, спорить с ним по каждому пустяку. Нет, что сделал, то сделал. Пусть лежит дома.

Под утро стало совсем плохо. Словно кто-то натягивает лук из моих кишок — тянет, тянет и тянет. Хочется крикнуть: да прекрати же ты тянуть, порвётся! Но кому здесь кричать, ведь не услышит никто. Пробую и так лечь, и этак — не помогает. Пробую походить — болит ещё больше...

Едва дождавшись утра, звоню Николаю, чтобы привёз таблетки. Жены дома нет, она с внуками, ключ под ковриком, таблетки на письменном столе, слева от компьютера. «Колья, будь другом, поспеши! Загибаюсь...» Он: «Скоро буду...»

2011 год, конец декабря. Николай — Тихон

Секретарь политсовета крупнейшего в регионе отделения федеральной партии Николай Григорьевич Козырев вызвал секретаршу и попросил перенести совещание с уполномоченными от районов и волонтерами с 11 на 16 часов дня.

— Вы, Наташенька, хорошеете день ото дня, — сказал Козырев. — Ещё немного, и я просто вынужден буду перевести вас на сектор. Как у вас с раздаточным материалом?

— Трудно не расцвести под вашим руководством, Николай Григорьевич, — ответила секретарша певучим голосом. — И с материалом у меня всё в порядке.

«Да, — подумал Козырев, глядя на пухленькие губки и манящую полоску атласной кожи между ослепительно белой блузкой и чёрной юбкой. Внизу живота прилила жаркая, тягучая истома. — Вот таких нужно двигать. Пора, пора...»

Козырев высадил водителя и сам сел за руль. «Ну что это за глупые деревенские привычки, — подумал он с досадой, вытаскивая ключ из-под грязного коврика у двери. — Безрассудство какое-то при современном положении с преступностью».

У него в городской квартире и в загородном доме мало что стальные двери, изготовленные по спецзаказу, так ещё и камеры стоят, видеонаблюдение. Позавчера на политсовете заслушивали полицейского начальника и дали целый ряд важных замечаний. Очень пригодился его прошлый опыт работы в МВД.

«Наши граждане должны быть уверены, что государство их защитит», — жёстко ставил вопрос Николай. А тут ключ под ковриком. Стараешься, заслушиваешь, обсуждаешь, выносишь решения, а он что? Потокает преступникам, провоцирует их на кражу. И это известный писатель.

Козырев прошёл в хорошо знакомую квартиру литератора Марютина. Сиживали они тут с Тихоном, о многом говорили, часто спорили о политике и жизни. Но это в прошлом. Другой у него теперь круг общения, другие собеседники и разговоры. Дальше шагнул. А Марютин остался — и в этой тесной квартирке, и в этом его литературном мирке, с копанием в прошлом, с книгами, которые издаются всё труднее и труднее, с тиражами и вовсе смешными. И всё почему? А не нужно современному человеку это копание, эти экскурсии в прошлое. Не хочет человек читать, особенно молодой, про тягостные страницы истории, про несправедные аресты, репрессии, расстрелы, про былых палачей и про тяготы войны, подчас искусственно созданные неумелыми командирами. Кому это теперь интересно? Было и было, проехали. Давайте строить в России иное будущее. Строить

вместе, так, как строит он, Козырев с товарищами по партии.

Козырев нашёл коробочку с таблетками, сунул в портфель. На столе заметил рукопись новой повести, о которой говорил недавно Тихон. Рукопись небольшая, он подсел к столу и стал листать, пробегая текст по диагонали. В самом конце вдруг наткнулся на свою фамилию. Он вернулся к началу главы, стал читать внимательно, вдумываясь в текст. Испарина выступила на лбу. Как?! Откуда этот писателюшка выковырял информацию о его отце? Ведь даже он, его сын, ничего не знал! Это же скомпрометирует и его, и семью! Почему эти борзописцы никогда не думают о живых людях?! Это же невозможно допустить!

«Вот она, настоящая цена дружбы, — с горечью подумал Козырев. — Узнал гадость про отца и сразу в книгу, сразу печатать. Все они паршивцы! Не зря в тридцатом Сталин раньше иных за них взялся. Поделом! Ведь и Тихон ни слова не сказал ему, самому близкому товарищу, не посоветовался. Да, сегодня поступок отца выглядит, может быть, некрасиво. Но ведь нужно смотреть в контексте времени. Это же 30-е годы, лагерь, преступный элемент, служебный долг, в конце концов... Мы вполне могли бы объясниться и какими-то другими словами...»

Он сунул рукопись в портфель и подумал, ведь текст мог остаться в компьютере. Вдруг компьютер запаролен и не включится, испугался Козырев. Но экран загорелся ярким светом. «И тут пароль не поставил, — с радостью подумал Козырев. — Как был колхозник, так и остался». У него, Козырева, попробуй-ка сунься — такая защита, что иной банк позавидует. На рабочем столе быстро нашёл текст повести, выделил последнюю главу и щёлкнул клавишу Delete. Всё.

Козырев посидел немного за столом, успокаиваясь, попил воды на кухне и хотел было уходить, как заметил на столе небольшой конверт. Из конверта выпали три фото. Он взял одно из них, и волна страха вновь мурашками прокатилась по спине. «Господи, — подумал он с испугом. — Этого только не хватало!»

Он достал зажигалку и сжёг над раковиной фото отца с револьвером. Два других сунул в

карман. Козырев посидел ещё немного, пришёл в себя, решая, что делать. Потом достал телефон.

— Наташа, — сказал он, — вы уже объявили о переносе совещания? Нет. Очень хорошо. Я отменил поездку и через десять минут буду в штабе. Собирайте людей. Мы не можем терять времени, когда другие партии уже вовсю работают на выборы. Предупредите в аппарате, чтобы готовились.

Возле подъезда Козырев выбросил коробку с таблетками в урну.

...К обеду боль немного ослабла. Из непрерывной она превратилась в прерывистую. Будто тот, кто ночью яростно натягивал тетиву из его внутренностей, теперь стал эту тетиву изредка дёргать. В промежутках между приступами боли Тихон задрёмывал.

«Скоро приедет Николай, — успокаивал он себя, — привезёт таблетки, и всё наладится. Таблетки импортные, дорогие, боль как рукой снимет. Правда, телефон его не отвечает. Может, не хочет говорить в машине».

«Как хорошо, что работу над повестью закончил, — подумал он в забытьи, — и не нужно больше хлопотать о ней. Буду просто отдыхать. Как здорово, когда над тобой не висят никакие обязательства, ты свободен и волен планировать что-то новое. Работать, да, трудно, но мечтать о работе — сладость, предвкушение настоящего счастья!»

К вечеру боль ослабла и вскоре и вовсе ушла куда-то. Больше не тянул никто внутри и не дёргал. Тихон осторожно выпрямился на диване. От лежания на боку болела спина, и теперь он почувствовал в теле приятную расслабленность.

«Наверное, и на этот раз проскочил, — подумал он, всё ещё боясь возвращения боли и медленно-медленно погружаясь в дрему. — Теперь точно поправлюсь. Отдохну немного и встану».

За окном потемнело, видно началась метель. Снежная крупа с мягким шелестящим звуком сыплет в стёкла. Сквозь дрему Тихон увидел знакомый по прошлогодней больнице экран. На экране кто-то неведомый включил фильм. Но теперь фильм не про историю древнего судостроения и театра, а о нём са-

мом. Вот его везут в поезде. Холодно, из окна дует, и мама закутывает его во что-то тёплое. Мама совсем молодая, и отец на коричневой скамье напротив тоже совсем молодой, с густыми чёрными волосами, зачёсанными назад. У матери и отца на лицах беспокойство. Они прикладывают ко лбу Тихона ладони и о чём-то шепчутся, чтобы не услышали соседи. Поезд раскачивает, и он засыпает под мерное перестукивание колёс...

Вот он в посёлке. Лето, высокие дома, мальчишки гонят палками телёнка, который забрёл на огороде. Женщина из окна кричит на мальчишек...

Вот он с отцом на покосе. Душистое сено в копнах, мама правит лошадю, копна плывёт высоко над дорогой, источая неимоверный запах лета и радости...

На следующем кадре Тихон взрослый. Впереди изезженная телегами знакомая полевая дорога. Справа и слева выкошенные поля без конца и края. Солнце высоко над головой. Безветренно и тихо вокруг. Где-то поют птицы.

Куда ведёт дорога? Куда он идёт?

Впереди узнаёт фигуру отца, и ему становится спокойно и радостно. Он дома. Отец в обычном своём кителе с бронзовыми пуговицами в якорях. Он радостно обнимает Тихона, крепко прижимает к себе. Тихон удивляется —

раненая правая рука у отца такая же крепкая, как и левая. Он берёт за руку.

— Как ты её вылечил?

— Мы здесь не бодем. И ты поправишься.

— Пап, а куда мы идём? — спрашивает Тихон.

— К своим, — отвечает отец. — Видишь, ждут тебя.

Далеко впереди группа людей: женщины, мужчины, дети, старики и старушки.

— Это всё наши? — удивлённо спрашивает Тихон. — Так много наших?

— Да, сын, — отвечает отец. — Все наши. Теперь и ты будешь с нами.

Тихон видит, как от группы отделяется лёгкая женская фигура и стремительно бежит навстречу. На женщине халат в ярких крупных цветах, короткие резиновые сапожки. Тихон узнаёт: это мама.

— Пойдём быстрее, — говорит отец. — Видишь, мать совсем заждалась.

И они прибавляют шаг.

2021 год

Константин Васильевич ГНЕТНЕВ (род. в 1947 году)

— публицист, писатель,

окончил факультет журналистики ЛГУ

и более 30 лет работал в периодических изданиях

Карелии сотрудником и главным редактором.

Лауреат международной литературной премии

Союза писателей России «Полярная звезда»,

победитель Всероссийского литературного конкурса

«Бородино» губернатора Московской области,

лауреат премии Республики Карелия

в области литературы (2008 и 2014 гг.),

премии журнала «Север» и специальной премии Союза

журналистов Карелии «За мастерство и достоинство»;

заслуженный работник культуры Российской Федерации.

